PG3465
.G64
1925

M. GOR'KII

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3465
.G64
1925

00004893529

КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

РАФАИЛ ГРИГОРЬЕВ

ee
c
PG3465
.G64
1925

М. ГОРЬКИЙ

M. GORʾKII

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1925

ГИЗ 7807. Ленинградский гублит № 18904. Тираж 5.000 экз.

Типография ф-ки „Светоч“, Ленинград, Б. Пушкарская, 18.

I

КАНУН ГОРЬКОГО

В 1892 году в тифлисской газете «Кавказ» появился беллетристический очерк «Макар Чудра», за подписью — М. Горький. В течение ближайших двух-трех лет это имя продолжает попадаться на скромных столбцах провинциальной печати. А в 1898 году — уже громовая слава. Два томика опубликованных тогда рассказов молодого, почти никем до сих пор не замеченного, автора сразу сделали его «знаменитостью». Как подхваченное бурным потоком, имя М. Горького понеслось из уст в уста десятков тысяч людей, проникая в такие глубокие пласты, которые никогда не знали и отдаленного литературного вторжения, запечатлеваясь в умах и сердцах, как будто недоступных влиянию книги.

Какие-то новые борозды провело в сознании современников это имя, какие-то небывалые созвучия породило в душах.

Нельзя подыскать в истории русской литературы чего-либо хоть отдаленно напоминающего этот «успех», да и в мировой литературе историки ее могут — и то с натяжкой — привести для сравнения лишь имя Байрона, который «в одно прекрасное утро проснулся знаменитостью». Не говоря уже о колоссальном, полуфантастическом для русского книжного рынка тираже изданий нового писателя,— его имя кричало с тысяч и тысяч портретов, снимков, статуэток, карикатур, папиросных коробок, конфектных бумажек.

Кто не знал, кто не помнил, кому повелительно не врезывалась в память эта характерная фигура в косоворотке, этот упрямо вздернутый, широконоздрый плебейский нос над солдатскими усами, широкие скулы, волнистая прядь волос, ниспадающая на крепкий мужицкий лоб, из-под которого пытливо и сосредоточенно-сурово всматривается пара глубоко посаженных глаз?

Мещанский бог пошлости пожал немалую жатву на этом празднестве рождения славы. Было немало обывательского любопытства, назойливости и глупости — неизбежных спутников всякого крупного общественного явления. В том хоре искреннего и изумленного восторга, который поднялся навстречу новому дарованию, слишком явственно раздавался и ослиный рев «черни», той черни, на которую обрушивал свои поэтические громы Пушкин.

Сам Горький (в «Автобиографических рассказах») с недоброй иронией вспоминает этот период:

«В 1901 г. я впервые приехал в Петербург, город прямых линий и неопределенных людей. Я был «в мóде», меня одолевала «слава», основательно мешая мне жить. Популярность моя проникла глубоко: помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо, парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мне, испуганно вполголоса сказал товарищу:

— Гляди — Горький.

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол, в резинковых калошах ходит».

Поколению, которому пришлось впервые познать Горького значительно позже описываемого времени, очень трудно постичь причину внезапности и фееричности успеха Горького на рубеже и в начале XX века. Современный двадцатилетний юноша, читая первые рассказы Горького, конечно, увлечется их солнечной яркостью и блеском,

получит немало художественно-эстетических и социальных эмоций. Но вряд ли мы ошибемся, утверждая, что все же впечатления эти будут недостаточны, чтобы отдать себе отчет в том, чем же была вызвана эта Горьковская «эпидемия».

Понять это необходимо, — здесь ключ к оценке чуднейшего из явлений новейшей русской литературы, именуемого Горьким.

Но чтобы понять, надо сделать маленькую экскурсию в прошлое, надо посмотреть, что представлял собою канун Горького.

* * *

То была полоса гиблого и серого «восьмидесятничества».

Акт 1 марта ликвидировал героический период истории русской интеллигенции. «Активное народничество» пало не столько под физическими ударами своего непомерно сильного врага — царского самодержавия, — как от внутреннего трагического банкротства. Уже народовольчество с его исключительным уклоном в сторону чистой политики, с его террористическим отчаянием, с молчаливым признанием безнадежности ставки на народ, свидетельствовало о полном крушении господствовавшей идеологии. Но не все надежды были утрачены: ярко горел пламень чистейшего энтузиазма, верилось в чудо освобождения народа сверху, через устранение монархии. Действительность поспешила развеять эти благородные иллюзии быстрее, чем этого можно было ожидать. Литературным выразителям народничества приходится поспешно переходить на оборонительные позиции. Оно все более принимает «критический» характер, в лучшем случае приобретая облик голого политического радикализма, в худшем — вырождаясь в реакционно-оппортунистический мещанский аполитизм, разменивающий полноценную монету большой

народнической утопии в фальшивую мелочь какой-нибудь «артельной эпопеи»..

Народничество угасало, оно теряло былое обаяние и власть над умами интеллигенции. Роман с «мужиком» закончился. Кровавое поражение народовольцев, несмотря на достижение ими той цели, для которой были понесены тягчайшие жертвы и сверхчеловеческие усилия — цареубийство, — не могло не вызвать и политического безверия. Наступило время «ужаса и чуть не повального одурения», и писатель, давший это определение, официальный хранитель героических заветов и традиций, Н. К. Михайловский, с неменьшим ужасом вопрошает: «На что надеяться? во что верить? чего желать? к чему стремиться? — все разбито, раздавлено»... Политическая реакция только дополняла, или, вернее — обрамляла наступившую реакцию общественную.

Отказ от «народа», как некоего верховного мерила, с которым следует сообразовать свою личную и общественную линию поведения, является первой характерной чертой «восьмидесятничества». Эта, по примененному в свое время определению, «безнародность» логически и органически связана с прочими ипостасями восьмидесятнической веры: «бескрылостью» — отказом от всяких революционных дерзаний и помышлений, от отрицания существующей действительности и попыток преодоления ее, и «безыдейностью» — отбрасыванием всякой «идеологии», непризнанием какого бы то ни было социального «долга», тяготеющего над личностью. Наиболее крылатые словечки, пущенные в ход самими выразителями восьмидесятничества, вполне вскрывают его убогую и жалкую сущность: «реабилитация действительности» и «теория малых дел» — таково евангелие, созданное поколением, которое выдвинулось на первое место, как только были убраны виселицы Желябова, Перовской, Кибальчича...

Лейб-орган восьмидесятников — «Неделя», — руководимый Гайдебуровым, бывшим революционным народником Абрамовым, будущим нововременцем Меньшиковым, в одной из статей выпукло охарактеризовал дух выражаемого им направления: «Наше поколение родилось скептиком, и идеалы дедов и отцов оказались над ним бессильными. Оно не чувствует ненависти и презрения к обыденной человеческой жизни, не признает обязанности быть героем, не верит в возможность идеальных людей. Все эти идеалы — сухие, логические произведения индивидуальной мысли, и для нового поколения осталась только действительность, в которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно»...

Под знаком «спокойного и безропотного» приятия «судьбы», т.-е. мрачной победоносцевщины, прошла большая, скучная и серая пятнадцатилетняя полоса.

Спячка, равнодушие, обывательский индивидуализм — таков общественный фон этой эпохи. Дешевое крохоборство, мелкое культурничество, «лужение рукомойников», по едкому выражению Щедрина, — деланные восторги по поводу «отрадных явлений» (вроде, например, похорон акушерки при большом стечении народа), долженствующих примирить с действительностью, «реабилитировать» ее, — таковы карликовые интересы и запросы «среднего человека», занявшего на «месте святом» авансцену общественности, — в журналистике, литературе, а главное — в живой жизни.

Ту же роковую печать общественной реакции носит на себе и другое течение 80-х годов, пользовавшееся значительным влиянием, — толстовство [1]. Проповедь «личного

[1] Мы имеем здесь в виду толстовство, как общественное движение. Насколько оно было «адэкватно» учению самого Толстого — вопрос особый.

самоусовершенствования», «непротивления злу», «опрощения», «тяга на землю» — трагикомическая интеллигентская эпопея создания земледельческих колоний, — все это, вместе взятое, имело определенный смысл знакомого нам «примирения с действительностью», являясь отражением — в другом зеркале — той же усталости, разочарования и безверия.

Дух реакции веял всюду: в философии идет борьба против позитивизма и материализма, критика бросает лозунг «искусство для искусства», художественная литература, под стать эпохе, наводняется обывателями, свободными от «предвзятых», «партийных» точек зрения, другими словами — от всякого общественного идеализма, от малейшего подъема над кругозором будней.

Крупнейший писатель, рожденный восьмидесятыми годами, Чехов, по мотивам и характеру своего творчества тоже был, в сущности, восьмидесятником, но, пропорционально размеру дарования, — большого масштаба, скрадывавшего все мелочное и ничтожное.

Разумеется, если подводить точный баланс 80-м годам, в них найдутся и свои плюсы. Можно и в «теории малых дел» отыскать положительные стороны, и лужение рукомойников, в конце концов, дело не бесполезное. Но нас здесь интересует психологический фон эпохи, ее общая идейная окраска, суммарное впечатление, ею создаваемое. А в такой плоскости восьмидесятничество являет собой синоним общественной серости, плоскости, мизерности, оно порождает ассоциацию чего-то удушливого, лишенного солнца и радости, какого-то духовного склепа.

И вот — пришел Горький...

* * *

Любопытно отметить, что вся критика — самых разнообразных «направлений» и «школ», дружественная и вра-

ждебная—реагировала на новое литературное явление почти в одних и тех же выражениях, одинаково определяя ощущение, порождаемое произведениями молодого писателя.

Вот, наугад, несколько примеров.

Н. К. Михайловский откликается на выход первых двух томиков рассказов Горького в сентябрьской книжке «Русского Богатства» за 1898 год обширной статьей, которая начинается с указания, что от рассказов этих «веяло чем-то свежим»[1].

Д. Философов, так много потрудившийся над умалением репутации Горького, отмечает, однако, что при его появлении «повеяло морским соленым ветром в удушливой атмосфере русского общества» (ст. «Завтрашнее мещанство» в книге «Слова и Жизнь»).

Народнический историк русской общественной мысли Р. Иванов-Разумник пишет: «Молодое поколение 90-х годов, измученное социологическим пессимизмом народничества, убогим мещанством восьмидесятников, беспросветным страхом жизни Чехова,—с жадностью приникло запекшимися устами к бьющему обильной струей свежему и бодрому оптимизму Горького».

Лучше и полнее других выразил это общее для всех суждение о Горьком пользовавшийся известностью критик Н. Коробка: «Надо быть человеком безвременья, человеком, сознательная жизнь которого началась не ранее половины 80-х годов, который сложился и живет под постоянным гнетом условий этой тоскливой эпохи, чтобы почувствовать всю прелесть и силу произведений Горького. Для людей, живших другой, более счастливой жизнью, этот здоровый, но тоскующий талант с его порывами из «ямы», порывами неопределенными, но страстными, всегда останется несколько чужим; зато для человека, жизнь которого

---

[1] Разрядка везде наша.

протекает в яме безвременья, произведения Горького являются лучом солнца, свежей струей воздуха, внезапно ворвавшейся в душный и темный подвал, чтобы напомнить, что есть на свете ясное синее небо, жаркое солнце, ароматные изумрудные луга, напомнить и поманить усталых, апатичных обывателей ямы к свету и простору» (ст. «М. Горький и его общественное значение» — «Образование» 1901 г. №№ 4—6).

Характерен отзыв одного из самых неприязненных к писателю и злобных критиков—Антона Крайнего (Зинаиды Гиппиус), — достаточно указать, что, по мнению этого критика, «о литературе М. Горького почти нечего говорить»... Но и сей суровый судия, пытаясь дать общую оценку явления, вынужден прибегать все к тому же обязательному, навязчивому сравнению. Антон Крайний говорит об уродливости жизни, ядовитости ее атмосферы, — все «тяжелее становится дышать и жить». Проповедь М. Горького прекращает эти человеческие мучения, она является «окончательным, смертным, освобождающим фонтаном углекислоты».

Человек задыхался в смрадном стоячем болоте, в спертом воздухе заплесневелого подвала. Чья-то рука с задорным звоном разбила стекло, и свежий, освобождающий воздух бодро ворвался в царство гнилости и удушья. Так единодушно охарактеризовала пришествие Горького критика, — и здесь мало существенно, что одни считали это освобождением для творчества жизни, а другие (как А. Крайний) — для духовной смерти. Важно показать, что Горький настолько осязательно знаменовал собою какую-то новую грань в русской жизни, что люди самых разнообразных и противоположных общественных взглядов и настроений не могли не отметить этого в одних и тех же выражениях, как слишком очевидную и общепонятную истину.

* * *

Разумеется, не Горький создал эту новую грань, — он только выразил ее: к сожалению, или к счастью, — дело вкуса, — не дано художникам творить историю по своему усмотрению, как не дано это, впрочем, великим полководцам и политикам. Исторические процессы подчиняются особой закономерности, ничего общего не имеющей с волей и желаниями отдельных личностей, на какой бы социальной или интеллектуальной высоте они ни стояли. Художественное творчество не представляет исключения: оно также связано, обусловлено, подчинено, над ним также властны законы «места и времени». Родись Горький на десять-пятнадцать лет раньше, — и мы не слыхали бы из его уст «Песни о буревестнике», но эта песня была бы все же пропета, — быть может, певцом менее одаренным, скупее оделенным даром судьбы.

Покойный профессор С. А. Венгеров правильно заключает о Горьком: «На его долю выпало счастье сказать надлежащее слово в надлежащий час, выступить с призывом к бодрости тогда, когда на смену победоносцевски-чеховского периода пришли стремления совсем противоположные».

Эти новые «стремления», крупнейшим художественным выразителем которых и явился Горький, порождены были рядом знаменательнейших явлений в социально-политической жизни России.

Победоносная реакция, в восьмидесятых годах подчинившая себе все сферы общественного бытия, в начале следующего десятилетия получила жестокий удар: мы говорим о голоде 1891—1892 годов. Событие это было чревато большими последствиями, оно ликвидировало многие из вреднейших иллюзий восьмидесятничества и снова поставило в порядке дня «переоценку ценностей». «Действи-

тельность», к «реабилитации» которой звали интеллигенцию пророки «малых дел», раскрыла свою подлинную сущность в страшных картинах повального голода. Казавшаяся непоколебимо мощной угнетенному поколению 80-х годов самодержавная власть сразу обнажила свои неизлечимые язвы. Размеры народного бедствия с такой очевидностью засвидетельствовали о коренном неблагополучии, что сами собой завяли, не успев расцвесть, цветы «культурнической» проповеди. Перед лицом массового обнищания деревни, падения и расточения производительных сил сельского хозяйства, идея «лужения рукомойников» не могла не умереть естественной смертью. Снова с повелительной настойчивостью встали сданные было в архив большие, «проклятые» вопросы. Дело помощи голодающим, — на которое многие пошли, действительно, без всякой «предвзятой» политической цели, — натолкнувшись на циничное противодействие правящей бюрократии, в свою очередь содействовало банкротству смиренномудрого аполитизма. Общественное движение и общественная мысль получают от голода мощный импульс.

Однако о реставрации «идеалов отцов» не могло быть и речи: голодная эпопея, вскрывшая всю косность, всю материальную и духовную нищету деревни, окончательно развенчала народничество. Стало совершенно очевидным, что рассчитывать на «мужика», как на активную общественную политическую силу, не приходится. Но констатирование этого факта, — ясного уже впрочем и для героического поколения 70-х годов и тем более для обывателей следующего десятилетия, — теперь не порождало особой тревоги, ибо на общественную арену выступила новая сила — пролетариат.

Не успела интеллигенция подытожить свои впечатления от «голодного года», как наступивший в 1894 году промышленный подъем открыл собой серию небывалых в рус-

ской истории по своим размерам массовых рабочих стачек. Расстрел бастовавших в 1895 г. в Ярославле рабочих «молодцами-фанагорийцами», всеобщая забастовка петербургских ткачей в следующем году, правительственные сообщения о с.-д. организациях — все это отодвинуло на задний план другие вопросы, вклинилось в сознание, как явление совершенно нового качественного порядка. Прогноз о неизбежности и прогрессивности развития капитализма в России, поставленный еще в 80-х годах первыми русскими марксистами-эмигрантами (Г. Плехановым, П. Аксельродом, В. Засулич), всецело оправдывался жизнью. Марксизм становится «властителем дум» значительной части интеллигенции. Рабочее движение, стихийное вначале и носящее чисто экономический характер, — под влиянием социал-демократической работы, а главное — опыта борьбы в условиях полицейско-самодержавного режима, — все более «выпрямляется». Самые закоренелые скептики не могли не увидеть, что в рабочем классе Россия обрела, наконец, нужную силу, тот рычаг, который сможет сдвинуть ее с мертвой точки. Впервые за почти вековую историю борьбы задача разрушения самодержавного Карфагена поставлена была на реальную почву.

Девятидесятые годы представляли собою картину необычайного социального и идейного брожения. То, что десятилетиями совершалось в скрытом, латентном состоянии, теперь обнажилось, как будто тронулся лед величавой исторической реки, предвещая невообразимый разлив. Все общественные классы сдвинулись с мест. Оскудевающее дворянство проедало последние выкупные свидетельства. Дворянские гнезда и вишневые сады переходили в руки Колупаевых и Разуваевых или Лопатиных. Деревня пауперизировалась и выбрасывала для выварки в фабричном котле десятки и сотни тысяч своих сыновей. На-ряду с традиционным мужиком-пахарем, воспетым Кольцовым

и Некрасовым, появился «хозяйственный мужичок». В городе «чумазый» сменился англизированным буржуа, былые богатеи, явившиеся во время оно с пресловутыми «котомками», подучили своих сынков в заграничных университетах. И сама Европа со своими капиталами, инженерами, директорами и машинами непосредственно внедрялась в недавно еще полудевственные российские дебри. Росла сеть дорог, города отстраивались, «как в лучших домах», подчинение деревни «центрам» перестало носить исключительный характер фискально-полицейской зависимости, сделавшись более органическим. Процесс урбанизации, сопутствуя процессу победоносного капиталистического развития, делал огромные шаги. Город получил не только внешне новый облик, он социально перерождался. Прежде физиономию его определяла главным образом бюрократия: сановная — наверху и чиновничья мелкота — внизу, все эти «бедные люди» Достоевского. На смену старой городской иерархии явилась другая: магнаты промышленного и финансового капитала стали на верхней ступени лестницы, появились рабочие кварталы, выросло, углубилось и видоизменилось «дно», заполненное уже не «бедными», а «бывшими» людьми, деклассированными элементами, «лумпен-пролетариатом».

Шло постоянное, непрекращающееся «переселение народов», текучесть, динамичность жизни охватывалась невооруженным глазом. Старая барско-мужицкая Русь отошла «в область преданий», все сдвинулось, заколобродило, перемешалось огромное человеческое месиво в кипящем котле.

Осмыслить этот сложнейший процесс нелегко было и тем, на кого, так сказать, провиденциально возложена миссия осмысливания исторических процессов. Объекты же этого процесса — трудовые низы, ввергнутые в бешеный водоворот социальной перетряски, пока что оставались

только объектами... В 90-х годах мы присутствуем лишь при первых попытках трудящихся масс заявить о себе, как субъекте истории. Еще не завершена социальная классовая дифференциация в бытии, тем менее завершена она в сознании.

Но сдвиг все же произошел, тысячи и тысячи новых фактов и форм жизни, небывалых положений и соотношений встают перед каждой человеческой «песчинкой», втянутой новым оборотом махового колеса истории. Уже не мужицкая, еще не пролетарская; вырванная из деревенской нищеты, брошенная в городские трущобы; не забывшая псалтыри, но жадно внемлющая и евангелию грядущего,— эта новая Русь еще попрежнему темная, вшивая и задавленная, но уже смятенная, ищущая и готовая бороться,— изумительно и чудесно заявляет о себе.

На жестокий способ своего создания историей она, перефразируя известные слова Белинского о Пушкине, «отвечает явлением Горького».

II

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ

Родился будущий М. Горький — Алексей Максимович Пешков — в Нижнем-Новгороде. Дата рождения — по старому стилю — 14 марта 1868 года, хотя сам Горький, в автобиографической заметке, данной им для «Критико-библиографического Словаря» проф. С. А. Венгерова, говорит о 1869 годе, а в другом месте годом рождения называет «1868 или 1869» (журнал «Семья», № 36, 1899) [1]. Однако более достоверной приходится считать первую дату,—поскольку именно 1868 год, как год рождения Горького, встречается во всех известных о нем официальных документах — в «делах» о нем Нижегородского Губернского Жандармского Управления, а главное, в записи метрической книги Нижегородской Варваринской церкви (№ 16 от 16 марта 1868 года).

Отец Горького, Максим Савватьевич Пешков, был по ремеслу драпировщиком и обойщиком. Сын бывшего николаевского офицера, разжалованного в солдаты и сосланного в Сибирь за жестокое обращение с подчиненными, Максим Пешков немало натерпелся от крутого родителя, не раз бегал от него еще ребенком (однажды отец искал

---

[1] Литературный Петербург справлял 50-летие рождения Горького в 1919 году, а близкий писателю человек, В. А. Строев (Десницкий), к этому же сроку приурочил издание своей юбилейной брошюры о Горьком.

его в лесу с собаками). Оставшись девяти лет круглым сиротой, мальчик поступил к крестному — столяру, который стал обучать его своему ремеслу. Но, должно быть, и теперь жилось не сладко, — побеги продолжались неоднократно, пока на семнадцатом году жизни он не отправился пешком из Сибири в Нижний, где и осел в мастерской столяра-подрядчика. Через три года это был уже хороший мастер своего дела — краснодеревщик, обойщик и драпировщик.

Мастерская, в которой работал Максим Пешков, помещалась рядом с домом цехового старшины, владельца красильного заведения, мещанина Василия Васильевича Каширина.

Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, — и молодой мастеровой возгорается страстью к единственной дочери соседа, в то время богача, Варваре Васильевне. Страсть не остается безответной, и, вследствие упорства отца, дело кончается «самокруткой». Примирение состоялось лишь через год после венчания, когда молодые ждали появления первенца. Через три года после рождения сына Алексея, Пешковы переехали в Астрахань. В 1873 году, пяти лет от роду, мальчик заболел холерой, выздоровел, но заразил ею отца, который и умер от этой страшной болезни, в то время как жена его рожала второго сына. Первым впечатлением будущего писателя, неизгладимо врезавшимся в его память, и является эта разыгравшаяся на его глазах мистерия начала и конца жизни, — мистерия, открывающая собою страницы автобиографической эпопеи «Детство» и «В людях» — самых скорбных, возвышенных и очищающих произведений новейшей литературы.

Отца своего Алексей Максимович, таким образом, не знал и почти не помнил. Но все то, что ему говорили об отце, рисует его человеком незаурядным, — способным, веселым и добрым, неглупым человеком, несомненно,

возвышавшимся над уровнем окружавшей его среды. Что касается матери, то она, по признанию Горького, на его жизнь никакого влияния не имела, так как, считая сына причиной смерти отца, не любила его, а выйдя вскоре замуж вторично, совершенно сдала его на руки деда, который начал воспитывать внука с псалтири и часослова.

И вот, «началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть,—слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени» («Детство»).

Так говорит, приступая к художественному рассказу об утре своей жизни, Горький. Уже одна внешняя ее канва, показанная писателем в краткой автобиографической заметке, достаточно выразительна для всякого сколько-нибудь знакомого с условиями русского быта.

«...Семи лет меня отдали в школу, где я учился пять месяцев. Учился плохо, школьные порядки ненавидел, товарищей тоже, ибо всегда я любил уединение. Заразившись в школе оспой, я кончил учение и более уже не возобновлял его. В это время мать моя умерла от скоротечной чахотки, дед же разорился... В семье меня никто не любил, кроме бабушки, изумительно доброй и самоотверженной старухи, о которой я всю жизнь буду вспоминать с чувством любви и уважения к ней... Восьми лет меня отдали в «мальчики» в магазин обуви, но месяца через два я сварил себе руки кипящими щами и был отослан вновь к деду. По выздоровлении меня отдали в ученики к чертежнику, дальнему родственнику, но через год, вследствие очень тяжелых условий жизни, я убежал

от него и поступил на пароход в ученики к повару. Это был гвардии отставной унтер-офицер, Михаил Иванович Смурый, человек сказочной физической силы, очень начитанный; он возбудил во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бумагу я ненавидел до этой поры, но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги и полюбить ее. Первая понравившаяся мне до безумия книга — «Предание о том, как солдат спас Петра Великого». С этого момента моей жизни я начал читать все, что попадало под руку; десяти лет начал вести дневник, куда заносил впечатления, выносимые из жизни и книг. Дальнейшая жизнь очень пестра и сложна: из поварят я снова возвратился к чертежнику, потом торговал иконами, служил на Грязе-Царицынской жел. дор. сторожем, был крендельщиком, булочником, случалось жить в трущобах»...

Даже краткий, схематично-анкетный очерк этот показывает, какую школу житейского опыта прошел с самых ранних лет Горький и насколько «детство и юность» Алеши Пешкова имеет мало схожего с детством и юностью не только барчука «Коленьки Иртеньева» (Л. Толстого), но и писателей-выходцев из демократически-разночинской среды.

Художественно же развернутая в автобиографических повестях («Детство», «В людях») схема эта предстает со всей беспощадной выразительностью «звериного быта» мещанских и трудовых низов оформлявшегося русского города. Социально это как бы продолжает «Нравы Растеряевской улицы» Глеба Успенского, но показано не со стороны, а самим обитателем этой «улицы».

«Детство» и «В людях», рассматриваемые как чисто биографический материал, дают чрезвычайно многое для понимания и уяснения творческого пути Горького. Можно утверждать, что те впечатления, которые он вынес на заре

своей жизни, и те кровоточащие раны, которые она наносила душе ребенка, создали основной фон художественного творчества Горького.

Первое и главенствующее из того «тесного, душного круга жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек», это — «горячий туман взаимной вражды всех со всеми». Ядовитый угар этой вражды насыщает все поры бытия. Она отравляет взрослых и детей, она наполняет сердца звериной злобой и ни пред чем не останавливается — даже в границах семьи, толкая друг против друга отцов, сыновей, братьев, сестер. Причина вражды, если она имеется, эта причина обычно мелка, низка и ничтожна: дележка, зависть, пьяная ссора. Но чаще всего она беспредметна. Самая страшная черта в русском человеке — это способность «самовозгорания» в нем лютой, дикой, нелепой и бессмысленной жестокости, жестокости от скуки, озорства ради. Проявления этой жестокости, воистину, ужасающи: издевательство сильного над слабым носит самый первобытно-зоологический характер, физическое и моральное насилие всегда граничит с мучительством. Стоит бегло пересмотреть обе названные книги Горького, чтобы убедиться, насколько над всеми прочими впечатлениями его ранних лет преобладают впечатления именно указанного порядка. Это преобладание можно бы доказать статистически, ибо нет почти ни одной страницы, в которой так или иначе не фигурировала бы мутная, всепоглощающая злоба унижения, «смертный бой», всяческие надругательства над человеческой личностью.

Вот семья старика Каширина. Сыновья Михаил и Яков требуют у отца раздела имущества, они боятся, что сестра Варвара (мать Горького) потребует своей доли. Вместе с тем, братья жестоко спорят и между собой из-за права открытия мастерской. Уже через несколько дней

по приезде мальчика к дедушке за обедом разыгрывается обычная картина ссоры:

«...Дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки...

... Вдруг дядя Михаил ударил наотмашь брата по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь»...

А вот другая семейная сцена, разыгравшаяся на глазах семилетнего ребенка:

«...Вдруг в кухню вскочил дед, подбежал к бабушке, ударил ее по голове и зашипел, раскачивая ушибленную руку... Он бросился на нее и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки... Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъяренный дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову ее ногами, наконец, споткнулся и упал»...

Внуку пришлось помочь бабушке вытаскивать из-под кожи на голове вошедшие туда от побоев три толстые, изогнутые шпильки.

В другой раз, когда бабушка подошла к старику, «он быстро повернулся и с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо. Бабушка отшатнулась, покачалась на ногах, приложив руку к губам... и плюнула кровью под ноги ему».

Вообще старик был большой мастер по этой части. Приемыш его, подмастерье Цыганок, на собственном опыте изучивший дедушкино искусство порки, излагает маленькому Алексею руководство, как держать себя при экзекуциях:

«Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи. И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом... Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет

лозу,—ну, тут лежи спокойно, мягко: а ежели он с оттяжкой сечет,—ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь. Это легче».

Дядя Яков первую жену на смерть забил — «ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, бьет». У второй жены, тетки Натальи, мальчик не раз замечал под глазами синие опухоли и вспухшие губы. Бабушка объясняла: «Бьет тихонько, анафема проклятый. Дедушка не велит бить ее, так он по ночам». И в утешение, воодушевляясь, присовокупляет:

«Все-таки уж теперь не бьют так, как бивали. Ну, в зубы ударит, в ухо, за нос минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали. Меня дедушка однова бил на первый день пасхи от обедни до вечера. Побьет—устанет, а отдохнув — опять... И вожжами, и всяко... А вдругорядь он меня избил до полусмерти, да пятеро суток есть не давал, — еле выжила тогда»...

Рассказывает бабушка своему внуку еще, как ее сыновья — Михаил и Яков — пытались утопить в проруби его отца.

Про всеспасительность и «незыблемость» телесной «науки» слышит ребенок из уст всех окружающих. Но еще больше видит он собственными детскими глазами, перед которыми беспрерывно разворачиваются ужасающие картины человеческой жестокости. Вся жизнь насыщена атмосферой мучительства, пропитывающей даже «забавы» людей, верховный закон которых как будто заключается в стремлении сделать больно ближнему своему.

«Весь Гостиный двор, все население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полной глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление. Поймав пару

крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга, а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро; собака в диком испуге, с визгом и грохотом мчалась куда-то, люди стояли и хохотали» («В людях»).

Положить накаленный наперсток полуслепому мастеру, чтобы он, надев его на палец, обжегся; заставить, побившись о заклад, болезненно-обжорливого человека съесть десять фунтов ветчины за два часа; угостить папиросой, начиненной порохом; рубить хвосты кошкам; наливать керосин в кадки с капустой и огурцами своих соседей,— по сравнению с этими повседневными «развлечениями» выигрывают даже «праздничные» картины кулачных боев.

Тысячами уколов впивались эти кошмарные впечатления в восприимчивую душу ребенка, вызывая в ней мучительную боль, преждевременно будоража мысль и рождая смятение и гнев.

Из сотен жутких картин, показанных художником в его автобиографических летописях, едва ли не самая жуткая—это сцена избиения его матери вотчимом:

«Я слышал, как он ударил ее, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, оперлась спиною и локтями о стол, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьет ее в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре... и со всей силы ударил вотчима в бок. По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу... Поздно вечером... мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала меня, целовала и плакала... Я совершенно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы.

Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это — та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной».

Суровая, «подлая» правда быта многомиллионного русского народа была познана и пережита будущим художником собственным мучительным опытом. Горькому не пришлось знакомиться с ней из вторых рук, по книжкам,— своим тусклым взором она смотрела еще в его детскую душу, давила, угнетала и волновала ее.

Беззаботность не была уделом его детства. Он «вырос» и «почувствовал что-то особенное» уже семилетним ребенком,—после того, как дед засек его до потери сознания, заставив прохворать несколько дней. С тех пор у мальчика «явилось неспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой».

Горькое знание жизни и решительное отрицание, «неприятие» этой познанной жизни,— вот что, прежде всего, вынес писатель из своего детства. Безрадостно-гнетуща, сера и мрачна эта жизнь, в ней можно только задыхаться и погибать. Люди — «скотская дрянь», дикое полузверье, способное на любую жестокость.

Но вот дедушка—этот сухарь, тиран, истязатель. Он приходит к внуку, больному после жестокой порки, просиживает с ним целый день до вечера, и когда, ласково простив, уходит, внук уже знает, «что дедушка не злой и не страшен».

«Ты думаешь, меня не били, — говорит старик: — меня, Олеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам господь бог глядел-плакал».

Совсем добряк дядя Яков, забивший двух жен. И вот-чим, со своей «подлой, длинной ногой», оказывается деликатным, сложным человеком, вызывающим к себе некоторую сожалительную симпатию. Десятки людей, которых мы не раз лицезреем в самом скотоподобном виде,— избивающих, издевающихся, совершающих невообразимые гнусности, — на поверку, при ближайшем рассмотрении, оказываются вовсе не плохими людьми, способными на бескорыстные и даже благородные движения.

Не осознавая этого рокового противоречия душевного строя «русского человека», маленький Алеша подмечает его, а впоследствии Горький не раз останавливается перед этой загадкой...

Мальчик видит только, что есть много одаренных, интересных, значительных людей,— но они как-то «отламываются» от жизни, коверкаются ею и гибнут зря.

В «Детстве» и, особенно, «В людях» дана богатая галлерея этих «лишних людей» из народа: повар Смурый, кочегар Яков Шумов, богомазы Жихарев и Ситанов, каменщик Ардальон и много других. У всех «силушка по жилушкам бежит», все мечутся, чего-то ищут, не находят, пьют—иные спиваются с круга.

Жадно присматривается к людям маленький Пешков, допытывается у них о жизни, о боге, о человеке, собирая в улей своей души горький мед истин, выношенных в тяжелой житейской борьбе.

Чем больше опыта накоплял в себе мальчик, тем больше давила его железным обручем невыносимость реальной жизни, его окружавшей. Но как уйти, как свергнуть это иго? Действительность можно или активно побороть,

пытаясь творчески преобразить жизнь, или же укрыться от нее густой завесой «возвышающего обмана». Ниже мы увидим, какую роль играет в художестве Горького эта дилемма. Разумеется, Алеша Пешков не мог ее ставить перед собой с такой же отчетливостью и остротой, как это было сделано впоследствии автором «На дне»,— но именно на заре сознательной жизни у него сложился зародыш этого раздвоения.

Читатель не посетует, если мы приведем довольно длинную цитату, примечательнейшее автобиографическое свидетельство, которое многое уясняет в художественном облике Горького.

«Мне только что минуло пятнадцать лет, но иногда я чувствовал себя пожилым человеком; я как-то внутренне разбух и отяжелел от всего, что пережил, прочитал, о чем беспокойно думалось. Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни уменья. И все тяжести, несмотря на их обилие, лежали непрочно, качались и пошатывали меня, как вода не крепко стоящий сосуд.

Я брезгливо не любил несчастий, болезней, жалоб; когда я видел жестокое,— кровь, побои, даже словесное издевательство над человеком,— это вызывало у меня отвращение; оно быстро перерождалось в какое-то холодное бешенство, и я сам дрался, как зверь, после чего мне становилось стыдно до боли.

Иногда так страстно хотелось избить мучителя-человека, и я так слепо бросался в драку, что даже теперь вспоминаю об этих припадках отчаяния, рожденного бессилием, со стыдом и тоскою.

Во мне жило двое: один, узнав слишком много мерзости и грязи, несколько оробел от этого и, подавленный знанием буднично-страшного, начинал относиться к жизни,

к людям недоверчиво, подозрительно, с бессильной жалостью ко всем, а также к себе самому. Этот человек мечтал о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о Персии и должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города. Поменьше людей, подальше от них...

Другой, крещеный святым духом честных и мудрых книг, наблюдая победную силу буднично-страшного, чувствовал, как легко эта сила может оторвать ему голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, скрипев зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой. Этот любил и жалел деятельно и, как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову, выхватывая шпагу из ножен, становился в боевую позицию».

Жгучее, непреодолимое желание как-нибудь избыть это «буднично-страшное» зародилось в душе Горького вместе с первыми проблесками сознательного отношения к жизни. Но никогда это стремление, даже в минуты наибольшей угнетенности и подавленности, не переходило в абсолютное отрицание. Смутная вера в то, что есть в жизни нечто прекрасное и манящее, что за рамками угарного быта расстилаются какие-то широкие, вольные просторы, поддерживало в мальчике неугасаемый интерес к людям и миру. Он всегда чего-то настойчиво и жадно искал, вперяя в окружающую тьму свой пытливый и невинный взор ребенка. И некоторые явления, действительно, поддерживали и укрепляли в нем эту веру. Не все люди дерутся и мучают друг друга,—вот дедушкин постоялец «Хорошее дело» — «первый человек из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране,—лучших людей ее»... А вот ослепительная, чудесная «Королева Марго». Все это говорило за то, что есть другая жизнь, иные мысли и чувства, все это раздвигало горизонты мальчика далеко за пределы той липкой мелко-мещанской тины, в которой

он захлебывался. Но еще дальше и решительнее отрывали его от этой гнусной действительности книги.

После того, как повар Смурый приучил его к чтению,— маленький Пешков не расставался с книгой. Как пьяница к рюмке, припадал мальчик устами, воспаленными от жажды иных, освежающих впечатлений, к пожелтелым, затрепанным листам случайно добываемых книг. После долгого, изнурительного для детского организма трудового дня, он ночью, тайком от хозяев, при свете огарков, лампадок, коптилок глотал страницу за страницей. Жестоко выпоротый пучком сосновой лучины, оставившим под кожею спины сорок две крупных занозы, извлекать которые пришлось в больнице,— мальчик пользуется этой счастливой оказией, чтобы «легализировать» свое право на чтение, получив разрешение от хозяев читать. Пусть это будут французские бульварные романы,—тем лучше:

«Я чувствую себя участником жизни необыкновенной, она сладко волнует, возбуждая бодрость... Я вижу проблески живой и значительной для меня правды, черты иной жизни, иных отношений. Мне ясно, что в Париже извозчики, рабочие, солдаты и весь «черный народ» не таков, как в Нижнем, в Казани, в Перми,— он смелее говорит с господами, держится с ними более просто и независимо... Вообще, вся жизнь за границей, как рассказывают о ней книги, интересней, легче, лучше той жизни, которую я знаю; за границей не дерутся так часто и зверски, не издеваются так мучительно над человеком»... («В людях»).

В прекрасном очерке «Как я учился», Горький, описывая этот же период отроческого опьянения книгой, говорит:

«Мне казалось даже, что жизнь, окружающая меня, все то суровое, грязное и жестокое, что ежедневно развертывалось передо мною,—все это ненастоящее, ненужное; настоящее и нужное только в книгах, где все более разумно, красиво и человечно».

Книга спасала от загрязнения, она делала душу непроницаемой для зла и мерзости окружающего, она подымала над этим гиблым болотом. Но здесь же таилась опасность оторваться от земной почвы, душевно раздвоиться. О том, что в нем, благодаря книге, «жило двое», красноречиво поведал нам сам Горький в приведенной выше цитате. Подменить окружающую «суровую, грязную и жестокую» жизнь необыкновенной, заманчивой и завлекательной «жизнью» книги было слишком большим и слишком понятным соблазном для русского мальчика, живущего «в людях», которому доктор вытаскивает из спины сорок две вколоченных в нее щепочки. К счастью, натура оказалась слишком здоровой, цельной и непосредственной, чтобы спрятаться в книжную скорлупу. «Содранная кожа» болезненно обнаженной души толкала к активному вмешательству в жизнь, и мы видим, как часто в гневе сжимались детские кулаки, как самозабвенно и отчаянно реагировал маленький Пешков на злые ее обиды. Более того, и в книгах стал он искать—и нашел—источник бодрости и силы:

«Мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту». («Как я учился»).

Так, впечатления детства и отрочества, с огромным художественным мастерством показанные Горьким в его автобиографических произведениях, дают нам в зародыше все то, чем, главным образом, жило, к чему было впоследствии приковано его творческое внимание.

* * *

«Надобно что-нибудь делать с собою, а то пропаду»...

Так думал пятнадцатилетний подросток, оценивая собственное самочувствие в окружавшем его мире. И назрело решение:

«Хмурыми осенними днями, когда не только не видишь, но и не чувствуешь солнца, забываешь о нем,— осенними днями не однажды случалось плутать в лесу. Собьешься с дороги, потеряешь все тропы, наконец, устав искать их, стиснешь зубы и пойдешь прямо чащей, по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота,— в конце концов всегда выйдешь на дорогу. Так я и решил. Осенью этого года я уехал в Казань, тайно надеясь, что, может быть, пристроюсь там учиться». Этими словами заканчивается «В людях».

«После пятнадцати лет,—говорит он в упоминавшейся уже заметке, напечатанной в журнале «Семья»,—возымел я свирепое желание учиться, с какою целью поехал в Казань, полагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение по три рубля в месяц [1]. Живя в Казани, Горький впервые сошелся с интеллигенцией—«познакомился со студентами, участвовал в кружках для самообразования», как глухо сказано в другой автобиографической заметке. Там же он сблизился с «бывшими людьми», давшими ему впоследствии материал для таких произведений, как «Коновалов» и «Бывшие люди». В 1888 году, в Казани же, Горький покушался на самоубийство, прострелив себе легкое. «Прохворав, сколько требовалось, я ожил, чтобы приняться за торговлю яблоками». Больше ничего не знаем мы пока об этом событии. Можно только предполагать, что свое душевное состояние, толкнувшее его на такой шаг, писатель пытался передать в рассказе «Случай из жизни Макара».

Попытка разрешить терзавшие его вопросы и сомнения револьверной пулей не дала ясности и покоя его душевному миру. В очерке «Писатель», посвященном памяти

---

[1] Казанский период жизни описан Горьким в „Автобиографических рассказах" („Красная Новь", март—апрель 1923 г.)

скончавшегося писателя-народника Н. Е. Петропавловского Каронина, Горький, рассказывая о своем пешем путешествии из Царицына в Нижний в 1889 году, т.-е. через год после покушения, так рисует — правда, в иронических тонах — владевшее им настроение:

«Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий, за исключением двух телеграфистов и одной барышни, был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии».

Фраза о «земледельческой колонии» не случайна: Горький в то время уплатил некоторую дань времени, несколько увлекшись толстовством. Правда, это было довольно своеобразное «толстовство»—без «опрощения», «непротивления» и прочих элементов интеллигентского «покаяния», которого у этого «цехового малярного цеха» быть и не могло. Он просто хотел отдохнуть от тяжелых оскорблений жизни и продумать пережитое.

«...Более тысячи верст, — говорит он в очерке о Каронине,— нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни — без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими».

В «Автобиографических рассказах» Горький определяет свое «толстовство», как стремление «отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною».

Однако даже и такого рода «толстовство» явилось для Горького случайным и скоропреходящим эпизодом [1].

---

[1] В очерке «Писатель» Горький подробно передает, как Каронин буквально одним жестом снял с него это лелеемое в мечтах стремление создать «колонию». Это не вяжется с позднейшим рассказом Горького о том, как тот же Каронин в то же время говорил ему: «Попробуйте и вы сесть на землю, — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам» («Автобиографические рассказы»).

Поиски «смысла жизни» продолжались. Они были настолько тяжелы и мучительны, что доводили до галлюцинаций, ставили человека на грань безумия, заставляя обращаться к психиатру.

«Душа моя сильно болела. И если-б, два года тому назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства,—наверное, применил бы этот способ лечения больной души».

Признание это читаем мы в «Автобиографических рассказах», в главе, носящей ироническое название «О вреде философии», в которой, однако, ничего веселого нет. Это—угнетающая клиническая картина душевного расстройства, дающая яркое представление о пределах смятения человеческого духа.

Выходом из тупика казалась в это время для Горького даже солдатчина. И когда в воинском присутствии доктор, исследуя рекрута, произнес: «Дырявый, пробито легкое насквозь. Притом—расширена вена на ноге. Не годен»,—это очень огорчило забракованного юношу. Он рассчитывал, заручившись предварительным согласием знакомого офицера, попасть в топографическую команду, чтобы отправиться для съемок на Памир.

«Здравствуйте! Экая сумятица у вас в голове: колонии, Памиры, изучение философии,—замечательно, право. Юноша, вам надо лечиться от этих судорог»...

Доброжелательным советом Каронина воспользоваться было не так просто. «Сумятица», действительно, была изрядная, амплитуда судорожных мечтаний очень значительна,—но как «лечиться»?

Многочисленные и частые встречи с интеллигенцией будоражили ум, заставляли интенсивнее мыслить, волновали и обогащали,—но удовлетворения не давали. Вспоминая любовно и благодарно лучших из встреченных им за этот период представителей интеллигенции, Горький—

сознательно или бессознательно — показывает, что даже эти люди оказывали на него, в конечном счете, лишь внешнее влияние. Так, о присяжном поверенном А. И. Ланине, к которому Горький поступил на службу письмоводителем и которого считает вторым, после Смурого, учителем своим, он пишет: «Влияние его на мое образование было неизмеримо огромное. Это высоко образованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех». Не видно также, чтобы Короленко оказал влияние на внутренний мир, на формирование духовной личности «начинающего» собрата по перу. В великолепных мемуарах о В. Г. Короленко — лучшем памятнике над могилой усопшего художника-публициста — дана непревзойденно-высокая оценка его общественной и писательской личности. Но что касается отношения Короленко — Горький, то оно не переходит за пределы литературного учительства. Правдиво и благодарно показано, как много дал и помог Короленко писателю Горькому,—но не больше [1].

[1] Проф. С. А. Венгеров, в свой заметке о Горьком, напечатанной в I т. «Русск. лит. XX века», между прочим, говорит, что не следует преувеличивать той роли, которую сыграли в литературной судьбе Горького—В. Г. Короленко и другие представители нижегородской интеллигенции того времени. Венгеров сообщает, что когда он в 1897 году, незнакомый еще с произведениями начинающего писателя, но уже слышавший о нем «как о человеке с талантом, хотя и неуравновешенным», обратился к нижегородским литераторам с просьбой получить от Горького материал для своего «Критико-биографического словаря писателей»,—то от одного из нижегородцев получил такой о нем отзыв. «Человек с талантом, хотя несомненно, что ничего крупного из него никогда не выйдет».

Сообщение, разумеется, очень любопытное. Но после выхода в свет воспоминаний Горького о Короленко, если нельзя утверждать, что последний «носился» с начинающим писателем, если нельзя «преувеличивать» роли Короленко в литературной судьбе Горького, то, во всяком случае, нельзя ее и преуменьшать: она несомненна.

Если Горький немного взял для «души» от таких людей, как Ланин, Каронин и, особенно, Короленко, то, очевидно, еще меньше он мог получить от других.

Не забудем, что речь идет о рубеже восьмидесятых и девятидесятых годов: восьмидесятничество было уже на ущербе, но еще не было «смены», и оно попрежнему держало в липких путах своих сердца и волю широких кругов интеллигенции. Молодежь, среди других новых книг, читала и «Капитал», увлекаясь железной логикой Маркса, но и его воспринимала сквозь психологическую призму восьмидесятничества:

«Если существует историческая необходимость, ведущая силой своей человечество по пути прогресса,—значит: дело обойдется и без нас.—И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали». Господствовал «индивидуализм», вульгарнейший материализм, высмеивались «заветы и идеалы героического поколения», напоминания о «долге» и «обязанности перед народом».

«Главное, пошлите к чертям идеалы и всю эту дребедень. Пишите просто. Долой идеи»,—так поучал Горького студент Ярославского лицея.

Были люди и иного склада, немногочисленные «хранители заветов героической эпохи», обломки изжитого революционного народничества. Они вызывали в Горьком горячую симпатию своей кристаллической чистотой, его привлекал их социальный идеализм. Но критический ум не мог не подметить в них нечто «героекомическое», «чудаковатое»: Горький, с его воистину страшным знанием жизни, слишком хорошо видел иллюзорность их веры, твердо зная, «что «народа», о котором они говорят,—нет на земле».

Окружавшая Горького интеллигентская среда могла только увеличить «сумятицу», царившую в его голове, но отнюдь не исцелить от нее. «Лечиться» приходилось упорной работой собственной мысли и закалом воли. Что та

жизнь, которой живут русские люди, никуда не годится, — об этом кричала каждая фибра его израненной души. Что принять эту жизнь нельзя, что ее надо отринуть, преодолеть, повергнуть ниц и растоптать, что людей, живущих этой «зверячьей» жизнью, необходимо перетряхнуть, переделать заново, — этот бунтарский вывод властно подсказывался инстинктом и разумом. Он ждал ответного отклика интеллигенции, к которой его так тянуло, как к мозгу страны, — но этого отклика не было. Рождалось скорбное недоумение, не лишенное горечи и раздражения.

«Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции, — говорит он о нижегородском периоде. — Множество образованных людей жило трудной, полуголодной унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди — чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергических усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своей духовной нищетой, диковинной скукой и, особенно, равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу» («Автобиографические рассказы»).

Господствовавшие среди интеллигенции настроения были тем непереносимее для Горького, что сам он все более загорался жаждой активного вмешательства в жизнь. В 1890 г., почувствовав себя «не на своем месте среди интеллигенции», он ушел путешествовать, исколесив весь

юг: Украину, Крым, Донскую Область, Кавказ. На Кавказе же, в 1892 году, как уже упомянуто, началась его литературная работа: «Человек вне общества», А. М. Калюжный натолкнул Горького на мысль стать писателем.

Работая в Тифлисе в железнодорожных мастерских, Горький стал печататься в местной газете «Кавказ». Дальнейшие шаги его литературной карьеры общеизвестны: работа в казанском «Волжском Вестнике», «Самарской Газете». Следующая ступень — появление в московских «Русских Ведомостях» рассказа «Емельян Пиляй». Далее, по предложению Короленко, Горький дает для «Русского Богатства» «Челкаш», написанный в два дня. В том же 1895 году в «Русской Мысли» печатается «Ошибка».

А через три года имя М. Горького уже гремит по всему миру...

Мы пытались бегло и сжато очертить, с каким «капиталом» жизненных впечатлений, ощущений и настроений подошел Горький к началу своего литературного пути. В нескольких выразительнейших по окраске строках, Горький дает собственный духовный портрет того времени:

«...Я был душевно голоден, и одуряющий яд книг не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта и, порою, я кричал:

— Шире бери!»

С этим буйным, дерзким и радостным криком он, как вихрь, ворвался в русскую литературу.

III

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Уже четверть века тому назад для большинства критиков, писавших о шумном дебюте молодого художника, было ясно, что новый мир, привнесенный им в литературу,— мир социального «дна», «босяков», «горьковских типов»,— ни для самого автора, ни для читателей не представлял преимущественного интереса бытового или, так сказать, этнографического характера.

Нам, которым художник в автобиографическом эпосе открыл процесс формирования своей личности, а плоды тридцатилетнего творчества позволяют сделать более правильную и точную ретроспективную оценку,—это утверждение представляется уже окончательно не поддающимся оспариванию.

В самом деле, почти всю свою до-литературную жизнь Горький прожил в обстановке, весьма далекой от живописной красочности и яркости.

Впечатления этой жизни не были мимолетными,— мы знаем, что они оставили глубочайшие, неизгладимые следы, память художника сохранила их во всей жуткой свежести до наших дней.

И, тем не менее, не эти впечатления предопределили содержание художественного материала, с которым Горький впервые показался в литературе,—он сознательно отрешился от хорошо знакомого быта и сознательно выбрал своих «босяков».

От первых своих, внелитературных еще, «проб пера» до произведений наших дней,— все творчество Горького — порой преднамеренно, порой бессознательно — густо насыщено элементом дидактизма, учительства, одержимо какой-нибудь «общей идеей». Всякое значительное произведение объективно выполняет функцию некоего «служения», хотя бы творец его субъективно не только был далек от какой-либо «предвзятости», но даже не в состоянии был сам понять истинного объективного смысла своего творчества. Но трудно подыскать в литературе еще одного крупного художника, в творчестве которого идеологические моменты превалировали бы в такой мере, как у Горького.

С редкой проницательностью, свыше двадцати лет тому назад, задолго до непосредственно публицистических выступлений Горького, Н. К. Михайловский писал: «...При всем своем несомненном художественном даровании по т е м п е р а м е н т у г. Горький больше публицист, чем художник». («Русское Богатство», 1903, апрель).

Разумеется, термин «публицист» здесь нельзя брать в обычном, узком, затасканно-газетном смысле, — речь идет о сознательном насыщении художественного произведения той или иной «идеей», владеющей его создателем. Опасность тенденциозности, вырождения в «беллетристическую публицистику» при этом несомненна, но отнюдь не обязательна. При гармоническом сочетании и органической слитности обоих элементов — идейной одержимости (по Михайловскому, «публицистического темперамента») и художественного дара — чисто эстетический эффект будет всегда выше и значительнее, чем при творчестве т. н. «бессознательном», если таковое вообще существует.

Как бы то ни было, хорошо это или плохо, но критике и истории литературы приходится считаться с крупнейшим явлением нашей современной «словесности», в котором это, по эстетическим канонам, противоестественное

сочетание выражено с исключительной отчетливостью и силой. И можно сильно усумниться, занял ли бы Горький такое же место в истории литературы, если бы судьба обделила его тем, что Михайловский называл «публицистическим темпераментом».

Итак, приступая к своему литературному подвигу, Горький не воспользовался тем богатейшим материалом, который дала ему жизнь в доме Каширина и «в людях».

Вспомним приведенное выше ценное автобиографическое признание жажды «подвига, бунта», вылившееся в крике «Шире бери!»

Но какую «ширь» можно было взять из Кунавинской слободы — этого царства тупости и злобы, «отчаянной скуки, перекипавшей в жестокое озорство»? Какой импульс для «разумной работы» могла дать интеллигенция, возглашавшая «долой идеи» и советовавшая «послать ко всем чертям идеалы и всю эту дребедень?»

Та стихийная, полусознательная, не имеющая еще оформленных целей жажда освобождения, та буйная воля к неведомым просторам, которая владела одаренным выразителем городских «низов», Горьким, не могла черпать материала для своего проявления из мутного источника жесткого и серого мещанского быта.

Хотелось подвига — а кругом рабство, покорная согбенность под позорным ярмом; хотелось поднять человека над ядовитым болотом, в котором он живет, — но разве можно было вдохнуть в него необходимую для этого бодрость, показав зеркало? Хотелось заставить людей уважать самих себя, сказать, что человек велик, что его следует писать с прописной буквы, — но реальная действительность, но «нормальная» жизнь могла давать только устрашающие примеры, а не образцы гордости и силы.

Так, размышляя «о печальном времени, бедном сильными людьми и крупными событиями, богатом холодным недове-

рием, смеющимся надо всем, — жалком времени мизерных людей с мертворожденными сердцами», — Горький, чтобы это «жалкое время» преодолеть, чтобы эту мизерную и страшную явь избыть, рождает своих, не знающих преемственности и традиций, героев.

Вся пестрая портретная галлерея показанных Горьким типов из социального дна, вся живописно-причудливая цепь новых образов, мыслей, чувствований, — сознательно созданы были для противопоставления тому, что есть и чего хотелось бы, чтобы не было. Такой настойчивой, сосредоточенной «полемики образами» не вел ни один писатель ни до, ни после Горького.

Понятно, что здесь элемент реализма или аутентичности отображения мог играть чисто служебную роль, далеко не всегда обязательную. Если какой-нибудь уголок действительной жизни — скажем, ночлежка Костылева — позволял осветить себя, как это нужно было для целей автора, — тем лучше. Но можно обойтись и без этого, — можно обратиться к «человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд», или к «старине, в которой были герои и подвиги»; можно, наконец, минуя даже легенды и предания, самому сложить песни и сказки, прозрачные в своей элементарной аллегоричности. И мы, действительно, видим, как у Горького различные художественные приемы и формы, в конечном счете, покорно несут службу одной и той же «возражательской цели». В одном случае это—выхваченный кусок жизни (напр., эпизод, переданный Горькому в больнице соседом по койке, давший канву для «Челкаша»); в другом — цыганская легенда, выслушанная от Макара Чудры или старухи Изергиль; в третьем — излишне ясная сказочка о чиже, который лгал, или песня о соколе, который разбился.

Все творчество Горького раннего периода построено на антитезах. Скрытым полемическим задором пропитано

даже пейзажное обрамление его произведений. Словно не существовало на свете этих серых, однотонных русских равнин и мокрых заборов с галками,— их сменили—море, то «смеющееся», то неукротимо грозное, снеговые горы, орлы.

С этими контрастами природы гармонируют контрасты человеческих личностей. Человек «нормы» пассивно мирится с жизнью, с рабской покорностью влачится он по ее проторенным, проплеванным всяческой мерзостью тропам. Он гнется перед всеми ее слепыми и жестокими велениями, послушен косным законам житейской морали, безличен, плосок, лишен дара собственной мысли и душевной цельности,—и лукавство раба есть предельный пункт его самоутверждения.

Из противоречия этой смиренной людской слякоти Горький создал своего человека с большой буквы, который прежде всего характеризуется активным отрицанием жизни. И поскольку современная русская действительность не успела еще выковать людей творческого, если можно так выразиться, отрицания, поскольку кривая общественного подъема только еще начинала итти вверх,— Горькому поневоле пришлось обратиться ко внесоциальной среде. Люди, вынесенные «нормальной» жизнью за ее скобки, естественно, не могут не находиться с ней в антагонизме,— эта логическая предпосылка обусловила напряженный интерес молодого художника к деклассированным элементам. Однако интерес писателя сосредоточен был не только на «бывших людях». Среди героев первого цикла его творчества мы встречаем далеко не одних только «босяков». Вот «кощей-снохач», сплавщик Силан Петров, человек с «почетом», имеющий работников. Сын его, «Митрий», по определению отца, «тряпица гнилая», слабосильный парень, мечтающий о спасении души и житии во Христе, не пожелавший—и не способный — жить с молодой и красивой женой своей,

С ней вступает в связь свекор, человек большой физической силы, «с могучей шеей и волосатой, прочной, как наковальня, грудью». Заурядная, как видим, бытовая русская картинка. Но посмотрите, как показана она художником! «На плотах», открыто, на глазах у сына и работника Сергея, — Силан Петров ведет свою любовную игру с молодой снохой. Это делается не из жестокости, не надругательства ради,— нет: старик знает, что быть снохачом «не лестно», что это «перед богом грех». Но он сознательно «переступил» закон, решив, что «один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно». Отсюда — вызов, бравирование своим поведением, отсюда — бурный прилив гордости и силы, делающий эту фигуру столь яркой, значительной и высоко стоящей над серым уровнем среды. Моральные навыки должны бы, как будто, подсказать нам возмущение «анафемским снохачом», но, подобно работнику Сергею, мы, сами того не сознавая, охвачены чувством восхищения перед ним. Мы невольно начинаем смотреть на мир глазами Силана Петрова, мы, вслед за ним, досадуем на «выродка» - Дмитрия, препятствием стоящего на его пути, нас не коробит слышать из уст его отца пожелание, чтобы сын умер поскорее. Мы захвачены этим героем, и когда по реке раскатисто гремят его могучие окрики, то и без подсказки автора чувствуется, «что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собою, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным, и оно — это радостное и сильное — просилось вон, и вот—вырвалось в этом гремящем, энергичном звуке».

Так, обычное бытовое явление русской жизни неожиданно преображено в апофеоз силы. На этот раз Горькому не пришлось спускаться в трущобы или прислушаться к старинной легенде, он нашел нужное ему в пре-

делах «нормы». Но в этих пределах оно могло проявиться только тогда, когда норма уже нарушена, когда закон «преступлен», когда человек находится, так или иначе, в действенном конфликте с жизнью. По своему общественному положению Силан Петров—человек «в почете», «хозяин», «кощей», но внутренним миром своим он уже такой же «босяк», как социальный босяк и вор Челкаш,—стихийные внутренние силы, в свободной игре, одинаково сталкивают обоих с рамками обычного, разбивают и выпускают на простор. Разница здесь чисто количественная, но тип или сорт человека—один и тот же.

Возьмем зажиточного мельника—Тихона Павловича из рассказа «Тоска» или миллионера Фому Гордеева. Мельник, случайно присутствуя в городе на похоронах неизвестного ему писателя, слушал надгробное слово, в котором говорилось, что души человеческие засыпаны «хламом повседневных забот», и люди «привыкли жить без души», стали «деревянные, бесчувственные, мертвые». Эти слова глубоко поразили Тихона Павловича. Он задумался, стал размышлять о душе, смысле жизни, о смерти,— словом, «затосковал». Начались судорожные искания и метания, завершившиеся вульгарным финалом—диким, чадным кутежом. Гораздо трагичнее судьба Фомы Гордеева, мучительно жаждавшего познать жизнь и искавшего своей «точки», своего места в этой жизни. Как у Тихона Павловича, искания оказываются бесплодными. В буйной вспышке обличения именитого купечества, собравшегося на торжественный обед, Фома изливает всю накопившуюся в нем ненависть и отрицание «удушья» жизни. Его запирают, объявив сумасшедшим, в больницу, и он кончает жизнь спившимся босяком.

Разве эти люди, стоящие на высокой ступени общественной лестницы, не являются родными братьями по духу опустившегося на дно пропойцы Гришки Орлова? Разве

речь Фомы Гордеева не повторяет желания этого босяка крикнуть людям: «Ах вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное — и больше ничего!» Или не тоска мельника Тихона Павловича слышится в словах золоторотца Коновалова: «Потерянный я человек... Зачем меня мать с отцом на свет родили. Ничего не известно... Темь... Теснота»...

Перед нами, при всем различии их иерархического положения в обществе—люди одного и того же душевного склада. Горьковский «проходимец» так определяет эту людскую породу:

«На свете есть особый род людей, родившихся, должно быть, от Вечного Жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему».

Лишние люди... Да, лишние люди, но без традиционно-литературного привкуса этого понятия. Качественно ново в них то, что они, большей частью, проникнуты активным отношением к жизни и, сознавая свою «излишность», не находя точки для приложения бурлящих сил, не уходят в собственную раковину, не ищут стороннего уголка для своего «оскорбленного чувства», а сжигают себя, погибнув непримиренными.

А вот еще одна социально-пестрая, но духовно однотонная группа: человек сомнительной биографии, грузин Шакро («Мой спутник»), работник на мельнице Кузька («Тоска») и красивая, богатая помещичья дочь Варенька Олесова. Шакро — лентяй, обжора и паразит, живущий исключительно инстинктом и способный для удовлетворения потребностей, подсказываемых этим зоологическим инстинктом, на любую животно-лукавую пакость. Примитивный эгоизм, органическая неспособность к элементарнейшим проявлениям человеческой солидарности, непосредственный, наивный цинизм всех его поступков, мыслей и чувств,— делают из Шакро совершенный, химически-чистый, лабо-

раторный тип двуного-антисоциального существа. Казалось бы, привлекательного здесь мало. Однако, по мере чтения, незаметно, без внутреннего сопротивления и протеста, вы начинаете подвергаться какому-то гипнозу, и, заканчивая чтение рассказа, вместо отвращения и гнева, чувствуется нечто вроде симпатии к проходимцу. Пленяет цельность этого существа, отсутствие в нем раздвоенности и рефлексии, непосредственность и нетронутость натуры. Никаких колебаний, сомнений, раздумий, ничего, парализующего волю, — яркая сатирическая антитеза философствующим, гамлетизирующим российским поросятам. По сравнению с душевной дряблостью и волевой распущенностью ущербного поколения,—полуживотное Шакро выигрывает. В нем есть зародыш какого-то высокого строя человеческой личности, при котором она не уродует, не насилует себя. Употребляя терминологию народнического социолога,—перед ними «низшая ступень высшего типа».

Такого же типа и «подсыпка» Кузьма Косяк. Никаких особенных «антиморальных» поступков его мы не видим, и в этом отношении он с Шакро сравнения не выдерживает. Правда, он покидает возлюбленную — не первую и, надо думать, не последнюю. Но делает он это не трусливо, не тайком, а откровенно предваряя свою Мотрю, что уходит на Кубань и ее с собой не возьмет.

«Волю мою ни на какую жену, ни на какую хату не сменяю... А на одном месте скучно мне»...

И на упрек возлюбленной, что он, видно, не любит ее, Кузька отвечает:

«Не люблю?.. Видно, вот люблю, коли разговариваю... И жалко мне тебя... да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей».

Хозяину своему, подслушавшему этот диалог, он отвечает теми же словами. А на упоминание о грехе, мельник услышал такую отповедь:

«Коли покрепче подумать, то выходит, что как ни живи, все грешно. И так грешно, и вот этак грешно,— пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево.—Сказал—грешно, промолчал—грешно, сделал—грешно и не сделал—грешно. Разве тут разберешь? В монастырь, что ли, итти? Чай, неохота!»

Хозяин просит его не уходить с места, хвалит, обещает прибавить жалованья. Но Кузьма непреклонен:

«Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко—привык. А уйду, потому тянет. Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит, пиши—пропал человек».

Поражает—и привлекает—в этом человеке его прозрачная и бодрая душевная легкость, проистекающая из той же цельности, монолитности натуры. Прав был Тихон Павлович, определив жизнь Кузьки как веселую и легкую.

«Легкий ты, Кузька... как пузырь... Ей-богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь этакий—радугой играет и летит, полетит—и лопнет».

Взберемся теперь на много ступеней выше по социальной лестнице. Перед нами дворянская барышня, проживающая в своем имении,—Варенька Олесова. На первый взгляд — это обыкновенная помещичья девица, «барышня на выданьи», малоразвитая, вульгарная. «Слишком много крови и мускулов в ее здоровом, стройном теле и мало нервов». Она искренно недоумевает, узнав, что ботаника и цветоводство это не одно и то же; русских писателей она не любит, потому что они изображают скучную правду жизни, «не выдумывают ничего интересного»,—другое дело французские бульварные романисты: у них всегда нечто необыкновенное, герои «настоящие», с пылкими чувствами; старика Никона, отцовского денщика, она за нерадение собственноручно хлещет папашиной нагайкой; мысль о равенстве людей вызывает у нее веселый смех, о мужиках—

подлых, грязных, гадких, ноющих — она говорит с отвращением. Словом, по образованию, культурному уровню, социальным взглядам и навыкам, — ничего неожиданного и нового в этой типичной генеральской дочке нет. Но недаром приват-доцент Полканов при первом же знакомстве подметил «гордость», сверкающую в ее взгляде. Это гордость не только женщины, сознающей силу своей красоты, но гордость «человека легкой жизни», абсолютной душевной цельности и правдивости перед самим собой. Эта нетронутость и свежесть человеческого инстинкта, противопоставленная скептическому мудрствованию интеллигента Полканова, — который «хочет, но не может», загорается страстным чувственным влечением к Вареньке, но борется с чувством к полудикарке, кажущимся ему недостойным «царя природы», — встает во всем своем превосходстве свежести и силы. Почти первобытное существо — Варенька побеждает квалифицированнейшего интеллигента Полканова, — и поражение последнего показано автором с излишне, быть может, подчеркнутым символизмом в финальной картине, где героиня избивает героя... мокрой простыней.

Буйный индивидуализм, стремление к простору, самоутверждение, горделиво-спокойная уверенность силы, бунт против всех ограничивающих свободу личности законов, — этими чертами окрашены все герои первого горьковского периода, независимо от их социального положения. И если количественно преобладали люди «дна», то это, как мы уже говорили, объясняется тем, что они были отщепенцами, и в них, естественно, все элементы бунтарства и отрицания являлись наиболее ярко и резко выраженными.

Узко-социального подхода к «босячеству» у Горького не было, и если бы в задачу его входило открыть только новый угол действительности, то вряд ли это вызвало бы особый интерес. Надо иметь в виду, прежде всего, что

подлинно нового такая бытовая летопись не могла дать: выброшенных за борт общества русская литература уже знала. Десятилетия за два до появления Горького, трущобам и подвалам посвятил усиленное внимание писатель-народник Левитов. Прекрасно очерчен облик босяка в незаконченной повести В. Короленко — «Прохор и студенты». Точно так же никого не могло бы поразить и «отыскание человеческого» в самой темной и загрязненной душе. Конечно, благодаря исключительному знанию изображаемого и редкому художественному дару, «босяцкие» вещи Горького имеют огромную ценность и как бытовой материал, являясь прекрасным орудием для борьбы с общественным укладом, порождающим страшное явление дна. Но эффект этот получается независимо от воли художника, которая была направлена в другую сторону. Что «босяк», как таковой, мало интересовал Горького, видно хотя бы из того, что в сущности писатель ни разу не показал нам процесса «обосячения» своих героев. В самом деле, что толкнуло на дно Емельяна Пиляя, Коновалова, Челкаша, Ваську Пепла? Мы этого не знаем, они нам даны уже в готовом, завершенном виде. И то, что мы узнаем о них, не вяжется с нашими социологическими познаниями о процессе деклассирования. Еще большой вопрос, являются ли они насильственно выброшенными из жизни, или же сами отшвырнули ее от себя. Критика уже отмечала эту социальную немотивированность «горьковских типов». Так, Д. Овсянико-Куликовский указал, что в героях «На дне» мы видим людей, утративших чувство своей «общественной стоимости» и уважения к самим себе, — но утрата этих чувств отнюдь не вытекает из «железных законов необходимости», она возможна по причинам внутренне-душевного порядка. Еще отчетливее выразил эту мысль Михайловский, сказавший, что босяки Горького «как будто не столько вышвырнуты из этого строя (жизни) какими-

нибудь внешними, объективными условиями, сколько сами ушли из него, добровольно, побуждаемые жаждой свободы»...

«Общая идея», руководившая Горьким в течение первого периода его литературной работы, заключалась в том, чтобы «возразить» угнетавшей его реальной действительности. Для этого он избрал сложный и окольный путь. Он начал не с реалистического отображения жизни и всех ее мрачных, губительных черт,—а для каждой из них как бы создавал ее антипода: скуке и серости он противопоставил «жадность к жизни»; рабскому пассивизму — стремление к безграничной свободе; склизкому стадному «середняцтву», житейскому правилу «быть, как все»—гордое одиночество, выделение себя из окружающего, повышенную, иногда до болезненного, самооценку; всей, вообще, будничности и тусклости бытия — мятежный порыв к исключительному, необыкновенному, невозможному; бескрылости, безволию, душевной дряблости — стихийную цельность и непосредственность.

Нередко все эти черты до крайности заострялись с молодым полемическим задором. Многих мещан это пугало до истерики. Вот характерный отзыв о «проповеди» Горького: «Она освобождает человека от всего, что он имеет и когда-либо имел: от любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой активной воли,—оно не освобождает лишь от инстинкта жить» (Антон Крайний). Но и не мещан порой смущало опасение, не примет ли бурный индивидуализм молодого писателя антиобщественного характера; не являются ли чересчур резкие и социально-опасные афоризмы его героев—отражением мыслей и взглядов самого художника?

Нам, четверть века спустя, нетрудно убедиться, что опасения эти были основаны на недоразумении. Уже один внимательный анализ ранних произведений показывает, что сам Горький был весьма далек от крайнего индивидуализма и далеко не безразличен к вопросам социального «добра и зла». И если некоторые из его героев изрекают: «Это сильно, прежде всего, сильно, а потому оно морально и хорошо», — то слишком рискованно было относить это утверждение за счет Горького, который и тогда умел показать, что различает силу хорошо направленную от направленной дурно. Возьмем две легенды из «Старухи Изергиль». Одна говорит о юноше Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон. Мать его была похищена орлом, который жил с нею, как с женой. Через двадцать лет она вернулась к своему племени и привела с собой своего сына, рожденного от орла. Юноша был холоден и горд. Он отказался повиноваться старейшинам. Отвергнувшую его любовь девушку он убил. Его привели на суд и из ответов его увидели, «что он считает себя первым на земле и что, кроме себя, он не видит ничего». Тогда ему придумали наказание, которое было в нем самом: одиночество. И его отпустили на свободу. Он ходил, куда хотел, и делал, что хотел. Десятки лет кружился он по жизни, совершая жестокости для своих наслаждений. Но — «нельзя всегда наслаждаться,— потеряешь цену наслаждению и захочется страдать». Захотел этого и Ларра—захотел смерти. Но смерть его не берет. «И вот он ходит, ходит повсюду. Он не понимает ни речи людей, ни их поступков—ничего. И все ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!».

Герой другой легенды — Данко. Он жил среди людей, загнанных вглубь непроходимого леса. Выбраться из него можно было двумя путями: назад—но там были сильные

и злые враги, вперед — там стояла непроницаемая тьма над топким болотом. И вот красавец Данко вызвался спасти людей—провести их сквозь лес. Люди двинулись за молодым вождем, но дорога была мучительно тяжка, они пали духом, возроптали и захотели убить Данко. Тогда он «сильнее грома» вскричал: «Что сделаю я для людей?».

«И вдруг он разорвал себе руками грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой». Сердце же пылало, «как солнце и ярче солнца». Освещенная этим факелом «великой любви к людям», тьма рассеялась, лес расступился, и люди вышли на вольный простор. А Данко «кинул радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал—и умер».

Два «индивидуалиста», два гордых, бесстрашных человека Поставил ли, однако, художник между ними знак равенства?

А в Коновалове не показана разве жажда общественного подвига? Когда он в пьяном разгуле «отводит душу»,— куда зовет он с собой приятеля Максима? В «эсаулы» шайки, куда он соберет всю голытьбу, призовет Пилу и Сысойку, про которых читал ему Максим, и будет их каждый день кормить кашей и говядиной... А судорожно ищущий Орлов,—о чем говорит его уход в санитары, его энтузиазм и самоотверженность в уходе за холерными, как не о неугасимой духовной жажде творческого проявления себя в жизни?

Проанализировав все произведения Горького этого периода, нетрудно показать, что его индивидуализм ничего общего с антиобщественностью не имеет. Но если указанные выше опасения высказывались, то они все же имели некоторое основание, поскольку, действительно, самый крайний и антисоциальный индивидуализм Горький предпочитал серому мещанству жизни.

Борьба с этим разъедающим мещанством являлась главной задачей художника, которой было подчинено все осталь-

ное. Посланник в литературе новой трудовой демократии города, еще аморфной и невыкристаллизовавшейся, но уже оттолкнутой от косных устоев быта, уже кинутой в поток стихийных движений,— Горький выполнял объективную функцию расчистителя дороги для делегировавших его и выславших вперед масс, их буревестника.

А дорога была густо загромождена старым хламом, мешавшим жить, двигаться, творить и бороться. Вместо наполнявших теплые и сырые болота действительности «ужей», хотелось видеть храбрых «соколов», носителей иного мира, иных дум и чувствований.

И если их не было еще в жизни, то можно было создавать их в фантазии, слагать им гимны или приукрашать, преувеличивать все то зародышево-«соколиное», что можно было найти в живом человеке.

Впоследствии, когда уже зрелым художником Горький приступил к бытописанию своих хождений «по Руси», он в одном очерке с неоставляющей сомнений ясностью рисует свое душевное настроение того времени:

«Большинство людей, среди которых я иду по земле, не то восходя, не то спускаясь куда-то, серо, серо, как пыль, мучительно поражает меня своей ненужностью, и не за что ухватиться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубину души, где живут незнакомые мне еще мысли, неслыханные мною слова. Хочется видеть всю жизнь красивой и гордой, хочется делать ее такою, а она показывает острые углы, темные ямы, жалких, раздавленных, изолгавшихся. Хочется бросить во тьму чужой души маленькую искру своего огня — бросишь — она бесследно исчезает в немой пустоте... Невольно я создаю какую-то сложную историю человеческой жизни, раскрашивая эту жизнь красками своих желаний и надежд. Я знаю, что это ложь, и—знаю—худо будет современем мне за нее, но грустно видеть действительность, столь уродливой без одежд фантазии» («Женщина»).

Хочется видеть жизнь красивой и гордой, — из этого желания родилось творчество Горького, родилось в момент, когда еще не было на-лицо элементов преображения жизни, когда можно было только его предчувствовать, предвещать. Эта коллизия между сущим и должным, между явью и чаянием, создала потребность в «раскрашивании», в работе — «фантазии» и «лжи». Здесь кроется корень горьковского «романтизма», о котором так много говорилось.

Мы берем слово романтизм в кавычки, ибо нет объективных оснований причислять Горького к романтикам, — если только не злоупотреблять этим термином. Горький слишком для этого почвенен, слишком связан тысячами нитей с землей и родиной, слишком хорошо постиг «труднейшее искусство любви к людям». В своих «Воспоминаниях о Льве Толстом» он приводит исчерпывающее и лаконичнейшее определение романтизма, данное великим писателем: «Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза».

Этого страха Горький не знал никогда. Напротив, он всегда смело и бесстрашно смотрел в жуткие глаза жизненной правде, и скорбное познание ее породило в нем неутолимую жажду подвига для творческого пересоздания жизни. Старуха Изергиль говорит: «Когда человек любит подвиги, он всегда сумеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам». К сожалению, это не так: не всякое время дает простор для подвигов,— в периоды безвременья человек, способный на подвиги, чувствует себя лишним, ему некуда приложить своих сил. И, наоборот, когда история создает соответствующие условия, подвиги совершаются не только отдельными лицами, но людскими массами. Когда Горький начал свою литературную деятельность, «места» для подвигов еще не было, и ему, предвозвестнику героической эпохи, приходилось прикрывать уродство жизни «одеждами фантазии», чтобы подымать людей, внушать им бодрость и жажду

подвигов. Это не романтизм, это, употребляя выражение самого Горького, «социальный идеализм». И когда возвещенная «черной молнии подобным» буревестником гроза разразилась, когда началась великая, до сих пор еще не завершенная, эпопея революции, вызвавшая многомиллионные массы из исторического небытия и сделавшая их активными творцами жизни, — Горький, нисколько не изменяя «социальному идеализму», забросил своих «раскрашенных» Данко и Зобаров, Челкашей и Коноваловых. Они нужны были ему в тот период, когда он, — инстинктивно чувствуя близкое пришествие на историческую арену огромных, но еще скованных сил, — бросал свой гордый и буйный вызов застоявшемуся обществу. Предрассветная, но еще мглисто-серая жизнь нуждалась в раскрашиваньи «красками желаний и надежд». Потребность эта исчезла, а вместе с ней живописные босяки и легендарные герои, — когда сама жизнь стала давать материал, уже не нуждающийся «в одеждах фантазии».

Если это романтизм, то, воистину, «романтизм поневоле». Правильнее будет сказать, что это чисто внешний литературный прием, имеющий видимость романтизма, — прием, которым временно должен был пользоваться реалист-дидактик.

В. Г. Короленко, познакомившись со «Старухой Изергиль», высказал о ней перед Горьким такое суждение:

«Странная какая-то вещь! Это романтизм, а он давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресения. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, — реалист».

Это очень тонко и верно сказано, — но в то время «своим» голосом Горький не смог бы спеть мажорных песен...

IV

ПРОБЛЕМА ЛЖИ

«Грустно видеть действительность без одежд фантазии». Еще «грустнее» ж и т ь уродливой жизнью, когда нет, за что «уцепиться». И чем тяжелее человеку, чем безжалостнее обрушиваются на него удары судьбы, чем мучительнее для него вериги бытия,—тем настоятельнее звучит в нем потребность создать для себя «возвышающий обман».

Проблема «лжи» имеет в Горьком своего самого крупного художественного выразителя. Уже в первых своих произведениях он задумывается над вопросом о «полезности лжи». Что нужнее: безжалостная, открытая правда или отвлекающая от этой правды опьяняющая, дающая забвение всего безрадостно-реального—ложь?

Эту дилемму Горький бесконечно варьирует на всем протяжении своей литературной работы, но со всей остротой особенно резко ставит ее именно в начале своего писательского служения.

Как же решает он эту дилемму?

Ответить на этот вопрос односложно нельзя,—это значило бы упростить, т.-е. не понять Горького, который с исключительной глубиной и сосредоточенностью подошел к разрешению поставленной трагической задачи.

Прежде всего он останавливается на «лжи», как на х а р а к т е р н е й ш е й н а ц и о н а л ь н о й ч е р т е р у с с к о г о н а р о д а. Почти в каждом замученном, замордованном идиотской жизнью русском человеке наблюдает

он какую-то странную, болезненную мечтательность, веру в существование чего-то исключительно чудесного, непохожего ни на что существующее, невероятного до нелепости, но чем нелепее эта фантазия, тем горячее и упрямее вера. Впоследствии, изображая на больших полотнах и в отдельных очерках нашу окуровскую Русь, Горький отвел этой черте одно из самых почетных мест в своем бытовом, реалистическом рассказе.

Мрачна, безотрадно-уныла и тяжела грязно-серая жизнь мещанской слободы. Отовсюду мертво и безнадежно смотрит подавляющая русская материальная и духовная нищета. Ничего не дает эта проклятая действительность — ни яркости, ни песен, ни цветов,—одну тупую, щемящую оторопь. Остается одно: ожидание чуда, вера в нечто, бог весть откуда имеющее явиться, страстная мечта по сказке, которая скрасит жизнь, оправдает людей в их собственных глазах. Так, зачатая в ничтожестве и прахе одуряющего бытия, рождается всеблагая утешительница — ложь. Велико разнообразие форм, которые она принимает, — десятки примеров показывает нам Горький, — и подчиняет она себе не отдельные только души, а людские множества.

Вот обычная темная русская яма — слобода Толмачиха города Буева. Мужчины занимаются «рыбной ловлей, охотой, птицеводством, воровством». Женщины — «истрепаны и грязны, у них дряблые щеки и на костлявых лицах — беспокойные глаза воровок». Слобода так бедна, что и нищие не заходят в нее,—«разве только в пьяном виде». От этой жизни люди ничего не ждут — ждать здесь нечего. Они покорно принимают ее такой, как она есть, и никто из обитателей слободы не скажет, какой могла бы и должна бы быть жизнь. Но жажда чуда, спасения, пришествия чего-то вызволяющего — жива, и все наполнены какими-то смутными чаяниями. Эту жажду чуда, эту тягу к утешению удовлетворяет Нилушка-юродивый, блажен-

ненький, дурачок, почти не умеющий говорить. Его внешняя красота, делающая его похожим на «ангела древнего письма», рождала в ожесточенных людях особое чувство...

Когда он на улице, слобода живет тише, кажется благообразнее, люди смотрят на безумца более ласково, чем на своих детей, и кажется, что даже самым злым он близок и мил. Летя в золотисто-пыльном воздухе, его тонкая, стройная фигурка, должно быть, всем одинаково напоминает церковь, ангелов, бога, рай; все смотрят на него каким-то общим взглядом: задумчиво, немножко испытующе, немножко боязливо... Красавец Нилушка был необходим в грязной, нищенской и больной жизни слободы: он оттенял и завершал собой ее ненужность, бессмыслие, безобразие...

И в том, что судьба наградила их слободу ангелоподобным Нилушкой, — люди хотели видеть какое-то указание свыше, перст божий, обнадеживающую отметку провидения. А вдруг — всевышний избрал блаженненького орудием своего милосердия, и Нилушка принесет слободе счастье! Эта смутная мечта и надежда теплилась в душах людей, которые, быть может, не знали, что нужно им для счастья, — и они пытались вкладывать многозначительный смысл в косноязычный лепет юродивого, доискивались, кто был его отец, не духовное ли лицо. И когда Нилушка умер, нельзя было узнать озорниковатых слобожан: «Почти на всех лицах, во всех глазах трепетало напряженное, пугливое ожидание чего-то». Слободской философ Антипа Волоногов выразил общее чувство словами:

«Все ждал, а вдруг что и выйдет чудесное, нежданное... Ведь тогда — «утешеньишко людишкам-то»...

«Иной раз жалко их, очень маятно живут, очень горько. А тут жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника».

Является ли в этом произведении Горький проповедником «лжи»? Конечно, нет. Он показывает нам процесс рождения «возвышающих обманов» в темных человеческих душах, углубленно и вдумчиво вскрывая примечательнейшую черту народной психологии. Очерк «Нилушка» есть именно, прежде всего, социально-психологический этюд, помогающий уяснить важнейшие особенности духовной жизни русского народа, его религиозность, поиски «взыскуемого града», легенды о Китеже, мистическое отношение к юродивым и кликушам... «Нилушка», написанный уже зрелым и вполне законченным художником, является как бы эскизом к громадным бытовым, реалистическим полотнам на тему о Руси; в этих полотнах мотив «Нилушки» повторен неоднократно, в самых разнообразных сочетаниях, и нигде элемента авторской проповеди нет. Апологии «спасительной лжи» не было у Горького и в тот период, когда он сознательно облекал уродства жизни в «одежды фантазии». И тогда, задумываясь над взаимоотношением «низких истин» сущего и миражей «возвышающих обманов», художник, прежде всего, реалистически констатировал это взаимоотношение, как причинную связь.

Если жизнь пуста и безотрадна, если она, кроме муки, позора и слез, ничего не дает бедной человеческой душе,— то душа эта, не имеющая за что «уцепиться» в живой жизни, гонит ее от себя, создает сказку о желанном, чего никогда не бывает и быть не может, огораживается ото всего призрачной и хрупкой стеной мертвой радости лжи, чтобы сделаться непроницаемой для суровой правды бытия.

«Если у человека в жизни не было ничего хорошего, он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую-нито сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так оно и было,— верит, ну ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь»...

И в другой раз произнесший эту сентенцию Коновалов возвращается к той же мысли:

«Как можно не верить человеку? Даже и если видишь — врет он, верь ему, то-есть слушай и старайся понять, почему он врет. Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо»...

В самом деле, что хорошего в «правде» жизни проститутки? Такую правду хотелось бы забыть, от этой правды люди убивают себя. И вот проститутка Тереза создает для себя в воображении жениха «Болеся», которому пишет письмо и сочиняет от него ответы.

«Что же, — говорит она; — нет его и нет... А мне хочется, чтобы он был... Разве ж я не человек, как все... Я пишу к нему, ну, и выходит, как бы он есть»...

И другая проститутка Настя, упоенно, «точно вслушиваясь в отдаленную музыку», рассказывает, как крепко любил ее студент, — «француз был... Гастошей звали... в лаковых сапогах ходил»...

«Что правда? — Она, правда-то, может обух для тебя», — говорит Лука.

Отнимите у Терезы и Насти их «Болесей», «Гастош» и «Раулей», — и этот обух перешибет их на смерть. Нельзя жить, нельзя ощущать себя человеком, не имея какой-нибудь «светлой точки» в душе. И если действительность настолько черна, что не может породить никакого душевного просвета, то неизбежно является, чтобы не дать окончательно погибнуть, — фантазия, вера в чудо, мечта, обогащающая человека, дающая ему кислород для дыхания.

Вспомним прекрасный очерк «Двадцать шесть и одна», справедливо названный автором поэмой. Двадцать шесть — это крендельщики, работающие каторжным трудом в грязном и душном подвале. Чудовищная пасть пылающей печи пожирает все их силы, нервы, соки, превращает в рабов,

лишая всего человеческого. Все полны тупой злобой и ненавистью ко всему, уста раскрываются только для сквернословия. И все же у этих полулюдей, у этих жалких илотов, есть своя святыня. Это — горничная Таня. Молоденькая, свежая, красивая, всегда приветливая и веселая, — она рождает в невольниках пекарни какое-то сложное и радостно-возвышающее чувство. Когда она спускается в подвал к «арестантикам» за кренделями, — у всех становится яснее и чище на душе. Ни одного циничного слова или жеста, ни одного грязного помышления не вызывает появление этой девушки у людей, которые обычно говорят и думают о женщине с омерзительной животностью. «Одна» Таня недосягаема, прекрасная и чистая, одна она воплощает в себе все то хорошее, святое, непогрешимое, чего нет в пекарне, но должно же где-нибудь быть... И когда появившийся новый булочник — солдат-щеголь, красавец и сердцеед — успешно принимается за свои победы над белошвейками, — обитатели подвала, уверенные в непорочности «одной», с вызовом предлагают ему испробовать свою неотразимость на Тане. Солдат вышел победителем. Двадцать шесть с тоскливым отчаянием убедились, что их единственная светлая мечта о жизни растоптана. Они устроили девушке, возвращавшейся со свидания с возлюбленным, дикую сцену, осыпали ее площадной бранью и оскорблениями, улюлюкали ей...

«Мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас».

Нужна большая любовь к человеку и огромное внимание к нему, чтобы подметить, объяснить, художественно оправдать эту черту...

«Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему», — говорит один из горьковских героев.

Еще больше людей лжет из жалости к самим себе.

Нигде, однако, Горький не утверждает, что ложь эта благостна и спасительна.

В Луке — из пьесы «На дне» — Горький дал яркий, сконцентрированный образ апологета жалостливой лжи.

Умирает ли Анна, — старик навевает ей сказку про смерть-утешительницу; алкоголику-актеру он скажет, что есть где-то «в одном городе... как его... название у него этакое... лечебница для пьяниц, чтобы, значит, даром их лечить»; Ваське Пеплу, вору, которому одна дорога — в Сибирь, — он выхваливает эту «хорошую», «золотую сторону», где умному человеку, «как огурцу в парнике»; в Наташе он поддерживает ее веру в «Гастошу» с лаковыми сапожками. И всем обитателям дна в поучение рассказывает про человека, который верил в «праведную землю», где все «славно-хорошо», терпел плохую свою жизнь только потому, что ждал — «брошу всю эту жизнь и уйду в праведную землю». И когда «ученый» из ссыльных доказал ему, что никакой праведной земли нет, то человек «рассердился»:

«Как так. Жил-жил, терпел-терпел и все верил есть, а по планам выходит — нету? Грабеж!.. И говорит он ученому: ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый!.. да в ухо ему — раз. Да еще... А после того пошел домой и — удавился».

Как Таня обокрала двадцать шесть крендельщиков, так «ученый» «ограбил» искателя «праведной земли». Симпатии лукавого старичка, бесспорно, не на стороне разоблачителей обманов, которыми убаюкивает, создает себе двойственную жизнь страждущая человеческая душа. Можно ли, однако, Луку считать выразителем взглядов его создателя?

Конечно, нет, и не только потому, что сам Горький впоследствии энергично открещивался от этого, заявляя, что в Луке он хотел изобразить проповедника, лишенного живой и действенной веры: «его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтобы они не мешали

ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью»... («Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом») [1]. Такому непосредственному свидетельству не всегда можно верить, — автор редко бывает удачным толкователем своих произведений. Но мы имеем «показания» другого рода. Прежде всего, ни разу мы не встретили у Горького действительного подтверждения, что ложь спасительна, что она меняет человека, преображая жизнь. Разве стало лучше «на дне» после того, как Лука всем наврал? Напротив, с его уходом беспросветная тьма этой жизни еще усилилась, трагические развязки стали сменять одна другую. Утешение, которое давал людям Лука, оказывалось словесным, никчемным, — обычной гнилой русской жалостливостью, в которой, действительно, презрения к человеку больше, чем любви и уважения к нему. Проповедник активного отношения к жизни, Горький не может солидаризироваться с той ложью, которая помогает мириться с жизнью, терпеливо выносить ее оскорбления.

Настя не может жить без мечты о «Гастоше», эта мечта — единственное, что подымает ее в собственных глазах, сохраняет в ней личность. Бережно, с огромной человечностью, вскрывает Горький эту черту в гибнущих душах, — но он знает и учит нас, что ложь эта только для нищих духом.

И устами не Луки, а скорее Сатина Горький высказывает свою правду о лжи.

«Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Я — знаю! Я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила

---

[1] В письме к одному босяку-ницшеанцу Горький называет философию Луки «жульнической».

руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода. Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, — тем ложь нужна... Одних она поддерживает, другие прикрываются ею... А кто сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого, — зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека».

Но Сатин слишком прямолинеен. Ведь лгут не только рабы и хозяева. Ведь есть ложь, не только поддерживающая человека от последней гибели или прикрывающая последнюю подлость. Мы видели, например, что правды не любил и Коновалов — не хозяин жизни, но далеко и не раб. Никто, вообще, из «сильных» героев Горького жизненной правды не любит, — все они стремятся выбиться из ее пут, все ищут чего-то за ее пределами, что-то несуществующее всегда призывно маячит перед их взорами.

Это «что-то», в переводе на язык реалистической прозы, тоже дожно быть названо ложью, — ибо полет в небо со связанными крыльями является ложью, — он недостижим и должен кончиться поражением.

Можно ли, однако, поставить знак равенства между такой ложью и ложью Терезы, создавшей себе воображаемого «Болеся»? Между проповедью Луки и проповедью «безумца» из известного стихотворения Беранже:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.

Здесь нет культа утешительной лжи. Это не жалость к нищему. Не соломинка, за которую хватается утопающая в грязи душа.

Вспомним горьковского «Чижа, который лгал». Чиж звал пернатых обитателей рощи «итти вперед», «в это чудное вперед», «в страну счастья», где «вечный неиссякаемый свет», где «весь мир будет ареной наших деяний, величие которых невозможно представить нам теперь». И когда любитель правды—Дятел, умудренный житейским опытом, разоблачил иллюзорность этой несуществующей страны, — Чиж, оставшийся в одиночестве, размышлял: «Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо... Я же только и хотел пробудить веру и надежду — и вот почему я солгал... Он, Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда камнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать в небеса?»

Есть, стало быть, кроме утешительной лжи, — ложь совсем иного порядка: ложь для подвига, для того, чтобы толкнуть людей на путь действительной правды, осветить заблудшую мысль.

«Мечтательность» и «вранье» не всегда являются свидетельством о духовной бедности и синонимом рабского страха и смирения перед жизнью. В самой жалкой лжи какой-нибудь Насти все же кроется отрицание жизни, протест против нее, зародыш борьбы с ней — уродливый, никчемный, мизерный, — но все же протест, и, каков бы он ни был, он лучше, чем полное его отсутствие. Когда же мы имеем дело не с Настей, а с целым народом, отмеченным чертой «лжи», — здесь нельзя пренебрежительно отмахиваться рукой. Мы знаем, что Горький очень пристально и напряженно всматривался в это явление, неоднократно к нему возвращаясь. Можно сказать, что во всей его глубине и сложности оно было открыто Горьким в русской литературе. Оно было художником реалистически показано и социально объяснено, как продукт определенных условий народной жизни. Продукт, несомненно,

болезненный в своих бытовых проявлениях, но таящий, в то же время, творческие возможности. Не знаем, действительно ли Каронин направил сюда внимание писателя, но слова, вложенные Горьким в уста этого писателя, прекрасно резюмируют лейт-мотив всех писаний Горького «о лжи».

«Русский человек любит мечтать и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума... Это, знаете... у нас черта серьезная, глубокая черта,— под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия».

V

БОРЬБА С МЕЩАНСТВОМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ

«Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться, чтобы спорить с мерзостями жизни и преодолеть их».

Так формулировал в 1918 году публицист Горький задачи человеческой личности. Вместе с тем здесь исчерпывающе охарактеризован господствующий тон его художественного творчества. В собственном понимании писателя, смысл его работы сводится к страстному желанию «возбудить в людях действенное отношение к жизни» (см. предисловие к его книге «Статьи 1905—1916»).

И весь пройденный Горьким путь, действительно, пронизан стремлением к действенности, психологически окрашен активизмом.

Однако преодоление «мерзостей жизни» требует известных предпосылок политического свойства, которых в данный исторический момент может на-лицо не оказаться. Так именно было, когда Горький приступил к своему общественному служению. Мы уже видели, что это было на п е р е л о м е — когда мещански-застойные формы жизни уже становились непереносимыми, а новые еще не были созданы. Смена шла, чуткое ухо могло уловить отдаленный шум грозного прибоя. Горький явился вестником этой надвигавшейся, но еще не разыгравшейся бури. Естественно поэтому, что ему прежде всего пришлось «не соглашаться и спорить» с той жизнью, которая осуждена на преодоление. Своими «босяками» Горький именно

возражал серому мещанству, они служили для него не идеалом, а отрицанием существующего. В конечном счете, почти все герои Горького этого периода, при всей внешней видимости своей нарочито подчеркнутой «силы», — лишние люди. Преодолеть жизнь им не дано, — они могут только «спорить и не соглашаться», инстинктивно бунтовать против нее, не имея определенной воли к перестроению жизни. «Я сам еще не знаю, чего мне надо», — говорят устами Фомы Гордеева, в сущности, все эти герои Горького.

Исторически-необходимая задача — расшевелить, потрясти, бросить вызов, ворваться освежающей струей — была осуществлена с яркой до дерзости неожиданностью. В лицо серой, тупой и уродливой жизни было кинуто гневное и непререкаемое: «Нет!» Но это голое отрицание не давало, само по себе, выхода. Кто же мог указать его?

Устало сердце —
Все нет пути!
Земля родная!
Хоть ты скажи мне,
Куда итти?..

В этих немудреных стихах одного из героев повести «Трое» — Павла Грачева — заключен вопрос, которого Горький, апологет действенного отношения к жизни, не мог не поставить. Куда итти? Кто скажет об этом? Традиционная разрешительница всех «проклятых вопросов» — интеллигенция? Да, Горький ожидал этого ответа от нее, требовал, — вообще он требователен, этот писатель, — но, вместе с тем, своими произведениями внушал мысль, что от интеллигенции ждать нечего.

Отношение Горького к интеллигенции проникнуто сложной двойственностью, психологическую основу которой надо искать в положении: кому много дано, с того многое взыщется. Выходец из низов, не знавший учения даже «на медные пятаки», обязанный в значительной мере книге

спасением в себе человека, — Горький лучше кого-либо другого понял и оценил значение интеллигенции в нашей темной, полудикой стране. Лично он очень много взял от интеллигенции. В автобиографических писаниях он, как мы знаем, не раз благодарно вспоминал своих учителей-интеллигентов; в публицистических выступлениях — Горький единственный за последние годы горячий и убежденный защитник этой опальной группы... Вспомним его ратование за «культуру» и ту роль, которую он возлагал в этом крестовом походе на интеллигенцию... Но как только за перо брался не публицист и не мемуарист, а художник, — перед читателем вставало другое:

Маленькие, нудные людишки
Ходят по земле моей отчизны,
Ходят и уныло ищут места,
Где бы можно спрятаться от жизни.
Все хотят дешевенького счастья,
Сытости, удобств и тишины,
Ходят и — все жалуются, стонут,
Серенькие трусы и лгуны.
Маленькие, краденые мысли...
Модные, красивые словечки...
Ползают тихонько скраю жизни
Тусклые, как тени, человечки.

Подход Горького к интеллигенции почти никогда не свободен от налета сатиры. Нередко можно уловить у него откровенно враждебные нотки. Вообще, в изображении Горьким интеллигентов всегда чувствуется связанность, стесненность внутренней свободы. Как художественные типы, горьковские интеллигенты являют собой нечто весьма бледное и маловыразительное: не запоминаешь почти ни одного лица, ни одной яркой, жизненной черты,—словно читал не произведение крупного беллетриста, а заурядный публицистический памфлет. Нередко при изображении интеллигенции Горький утрачивает чувство

меры, наделяя своих героев такими чертами, от которых, при всем отрицательном отношении к этому «сословию», их можно бы освободить. В рассказе «Скуки ради» начальник станции, его жена и помощник, цитирующий писателей, проследив роман, завязавшийся между кухаркой Ариной и стрелочником Гомозовым, устраивают им безобразную сцену издевательства, после которой Арина кончает самоубийством. Допустим, что это полуинтеллигенция, глухое захолустье, где люди дуреют от скуки. Но вот семья профессора, принимающего к себе в дворники бывшего народного учителя, голодного юношу, Платона Багрова («Рассказ Филиппа Васильевича»). Платон влюбляется в профессорскую дочку Лиду, — и все, начиная от профессора, дочери, их гостей и знакомых, травят насмешками молодого человека, при чем травля носит какой-то нарочито грубый и подлый характер. Так, Лидочка в присутствии подруг спрашивает парня, любит ли он ее и готов ли для нее все сделать. И, в ответ на трепетное утверждение Платона, барышня, при общем смехе, посылает его... ставить самовар. Профессор, прохаживаясь насчет чувств своего дворника и «добродушно» хихикая, выговаривает ему, что его любовь плохо отражается на унаваживании огорода и т. д. Кончается и на этот раз самоубийством... В рассказе «Калинин» находим повторение того же «сюжета». Лакей влюбляется в генеральскую дочь, невесту доктора. Знакомый писарь за трешницу составляет Алексею любовные стихи, которые тот подбрасывает предмету своих вздыханий. Барышня, прочитав стихи, дает своему неожиданному поклоннику порошок, чтобы он всыпал его в тарелку соперника, когда будет подавать обед. Но Алексей чувствует, что он не в силах убить человека, и сам принимает «яд». Из случайно подслушанного разговора он узнает, что барышня дала ему соды с кислотой... От нервного потрясения Алексей тяжело заболевает...

Возможно, что все это — «подлинные происшествия», но ведь художник—не фотограф, делающий случайные снимки, — во всяком случае, Горький менее кого бы то ни было другого склонен к «фотографированию». Каков же смысл подобных повествований? Какие обобщения можно из них сделать?.. «Разве можно так шутить?»—говорит о своем «эпизоде» Калинин. — «Ведь я же не кутенок!» Однако — вот шутят, и притом люди как будто высокого, относительно, интеллектуального уровня. Очевидно, для них все эти Алексеи, Платоны, Арины—воистину «кутята» с которыми все дозволено и которые кажутся непроницаемыми для высоких «чувств». Здесь, в грубо искажающем кривом зеркале, Горький отражает мучившую его все время мысль об отчужденности интеллигенции от народа. Характерно, что три упомянутых выше рассказа написаны на больших хронологических протяжениях друг от друга («Скуки ради» — вещь раннего периода, «Рассказ Филиппа Васильевича» появился, если не ошибаемся, в 1908 г., «Калинин»—незадолго до войны), и законченная художественная зрелость все же не освободила писателя от соблазна лишний раз довольно топорным приемом продемонстрировать дурное в интеллигенции.

Проблема «интеллигенция — народ», можно сказать, никогда не снималась с порядка дня русской литературы. Но до Горького она ставилась только «сверху», самой интеллигенцией, ее идеологами и вождями. Народ же «безмолвствовал», как всегда. В лице Горького впервые печать молчания снимается с уст этого загадочного сфинкса. Он заговорил, высказал свое слово об интеллигенции. Если пытаться как можно более сжато выразить то впечатление, которое оставляет галлерея горьковских интеллигентов то можно будет сказать, что перед нами наиболее опасная, наиболее тлетворная и гибельная часть того мещанства, борьба с которым составляет дело всей жизни

писателя. В пьесе «Мещане» это подчеркнуто художником в противопоставлении отца и сына Бессменовых. Старик— «образцовый мещанин, законченно воплотивший в себе пошлость», но его мещанство бессознательное, классовое, впитанное с молоком матери, это явление как бы биологического порядка. Не то студент Петр—«мещанин, бывший гражданином полчаса». Его раздражает органическое, полурастительное мещанство отца, мещанство внешних бытовых форм. Он сознательно относится к миру и его явлениям, он не может просто жить в хлеву и захлебываться в пошлости без оправдания идеологического порядка, без теоретизирования. И если кровный, сословный мещанин с зоологической прямотой и откровенностью скажет: «своя рубашку ближе к телу» или «моя хата с краю»,— то мещанин культурный, квалифицированный, возгласит с пафосом, подобно Петру Бессменову: ...«Я... не хочу... не обязан подчиняться требованиям общества. Я личность Личность свободна». В «Дачниках» целая куча мещан подобной «высокой марки», — писатель Шалимов, адвокат Басов, инженер Суслов, — кто с усмешечкой, кто самодовольно, кто с нескрываемым цинизмом, «отвратительно много» проповедуют на тему о праве интеллигенции занимать «удобные места» в жизни, ничего для нее не делая. Один говорит о незаметном — «потихоньку» — изменении форм жизни, как единственно «прочной» работе, другой— любуется «сложностью» интеллигентской психики, третьему просто «наплевать» на все «россказни... призывы... идеи». О том, что душа интеллигента соткана из четырех составных частей: честолюбия, злобы, трусости и нервности, — это мы узнали от Горького уже давно, в одной из ранних его вещей («Еще о чорте»). Все дальнейшие его писания об интеллигенции представляли собой как бы разработку и конкретизацию этой схематически обрисованной личности злополучного Ивана Ивановича, душу

которого не хотел взять даже чорт: «Помилуйте, куда мне ее?»

Мы видели, какими сложными, обходными путями боролся Горький с мещанством жизни в течение первого «босяцко-романтического» периода своего творчества. На следующем этапе та же борьба велась уже непосредственно. «Фома Гордеев», «Трое», «Мещане», «Дачники» представляли собой прямое обличение мещанства, и на фронте этой борьбы одним из наиболее «обстреливаемых» художником участков являлась интеллигенция.

«Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чор-рт ее побери. Я бы им сказал: букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О, гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что вы делаете для нее?»

Можно ли эту гневную филиппику Ежова («Фома Гордеев») относить за счет самого Горького? Нам думается, что можно. Почти все написанное им об интеллигенции таит в себе этот напряженный до крика вопрос: «Что вы делаете для нее?». Справедливо ли, однако, это тяжелое обвинение в социальном тунеядстве? Нельзя упрекнуть Горького в том, что он исказил правду, что всех этих Бессеменовых, Шалимовых, Сусловых не существует и не существовало, что они являются продуктом злостного вымысла художника. «В общем и целом», портреты интеллигенции, нарисованные Горьким, соответствовали той действительности, которую он наблюдал. Но он зарисовывал не всю интеллигенцию, ибо, конечно же, не вся она состояла из мещан и паразитов. Социологически—«интеллигентом» является всякий работник умственного труда—любой чиновник, любой врач, любой адвокат. Однако мы привыкли вкладывать в это понятие содержание, чуждое

профессиональных и социальных черт. Для русского уха интеллигент — это, прежде всего, общественный работник, человек некоего идейного «делания»; профессия играет второстепенную роль, она подчинена делу «служения». С этой специфической точки зрения можно оспаривать самое право Суслова причислять себя к интеллигенции. И в тех же «Дачниках» это право, действительно, оспаривается. Варвара Михайловна говорит: «Интеллигенция— это не мы. Мы—что-то другое... Мы — дачники в нашей стране... какие-то приезжающие люди. Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест... мы ничего не делаем и отвратительно много говорим»...

Горький знает, стало быть, что есть интеллигенция и интеллигенция. Ведь и приведенная выше обличительная тирада произнесена интеллигентом Ежовым, и стихи о «маленьких, нудных людишках» составлены интеллигентом Власом, интеллигентка же и Варвара Михайловна. Знает Горький очень хорошо, что есть группы интеллигенции и имелись целые их поколения, далеко не равнодушные к судьбам народа и вовсе не дешевой ценой оплачивавшие «факт своего бытия».

Семнадцатилетним юношей в Казани он сталкивался с народнической интеллигенцией, и вот какие впечатления вынес он из этих встреч:

«Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел — плотников, грузчиков, каменщиков, знал — Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же

казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия» [1].

Мы уже упоминали, что в целом ряде автобиографических очерков дана весьма положительная оценка многих представителей интеллигенции, что в публицистических выступлениях Горький не раз, с большой настойчивостью и внутренней убежденностью, призывал к сугубо бережному и внимательному отношению к интеллигенции; как одной из важнейших сил социального творчества.

Но, повторяем, в горьковском художестве подобного рода оценка почти не отразилась. Те немногие «положительные типы» интеллигентов, которые мы встречаем в его произведениях, безжизненны и слабы, и их совершенно заслоняют интеллигенты-мещане, художественно тоже маловыразительные, но достаточно отчетливо продемонстрированные публицистически.

Из довольно многочисленных интеллигентских типов привлекательно, любовно и художественно-выразительно выписаны только облики писателя Мастакова (из пьесы «Чудаки») и поднадзорной Евгении Мансуровой («Матвей Кожемякин»). Но это сделано было, когда обличительный период был далеко позади...

В изображении интеллигенции у Горького с особенной яркостью сказался тот «энергический публицистический темперамент», который отметил у него Михайловский. Поднявшись из народной гущи, полный впечатлениями «страшной жизни» и жаждой ее преодоления, — Горький, очутившись «наверху», с остротой и болью прочувствовал всю глубину различия этих двух миров. Ему не надо

---

[1] «Автобиографические рассказы». Разрядка наша.

было «изучать» народ, он знал, как неизмеримо велика его потребность в помощи и работе для него «мозга страны» — интеллигенции, которая в массе своей отнюдь не горела подвижничеством,—и он бросил ей в лицо обличительный вексель к оплате. Горького вовсе не занимала задача объективного бытописания интеллигенции, он не стремился рисовать те или иные ее «типы» в их разнообразии и многогранности. Он хотел показать ей ее историческую обязанность, ее «долг» перед страной, который она не погашает,— и этой цели подчинил всю сделанную им характеристику. Для такой задачи наиболее подходящим и удобным был прием обличения. Вот почему из всего написанного Горьким об интеллигенции остается в памяти, как преобладающий мотив, истерический вопль чахоточного Ежова:

«О, гниды! Что вы сделали для своей страны»?..

VI

УЧАСТИЕ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ

Срок, отделявший появление «Песни о буревестнике» от возвещенной бури, оказался менее продолжительным, чем можно было ожидать. Революционное движение все более разгоралось, и в зареве вздымающегося пожара все отчетливее вырисовывалась роль и значение рабочего класса.

Характерно и заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что у Горького мы до революции 1906 года не замечаем особого внимания к пролетариату. Фигуры рабочих попадаются эпизодически — в очерке «Озорник», в повести «Трое», более отчетливо и законченно в образе Нила из «Мещан», да и то сказать: Нил, машинист по профессии, приемыш и воспитанник Бессеменовых, живет в их семье, показан на ее фоне и, может быть, только благодаря этому сопоставлению и выигрывает.

Лишь после 1905 года, когда уже революция начала спадать и очутилась на ущербе, мы встречаемся у Горького с произведениями, посвященными рабочему классу, его движению, социализму.

Прежде чем перейти к рассмотрению этой стороны творчества писателя, нам придется сделать небольшую вставку биографического характера, которая даст нам несколько справок о личном, непосредственном участии Горького, как гражданина, в общественном и революционном движении.

Первые сведения о «политической неблагонадежности» Горького относятся к его пребыванию в 1887 году

в Казни, где он поступил разносчиком хлеба в булочную Степана Деревкова, именуемую в справке департамент полиции «конспиративной булочной» [1]. Установленное за булочной секретное наблюдение обнаружило, что она «является местом собрания учащейся молодежи, занимающейся совместным чтением тенденциозных статей и сочинений для самообразования в противоправительственном духе». В числе заподозренных в «крамоле» оказался и Алексей Пешков, тем более, что при обыске у учительницы Щербаковой была найдена собственноручная его выписка из одной статьи Миртова (П. Л. Лаврова) и с надписью Пешкова: «Систематический указатель лучших книг и журнальных статей 1856—1883 года», изданный в Челябинске поднадзорными братьями Покровскими. Булочной Деренкова, его интересным хозяевам и обитателям, Горький уделяет немало внимания в последних очерках своих «Автобиографических рассказов» («Красная Новь», кн. II, 1923, март — апрель). Отношение автора к этой булочной, как революционному предприятию, довольно ироническое. Это был чисто идейный кружок, вне связи с каким бы то ни было движением. Справка департамента полиции глухо указывает, что Пешков по делу «конспиративной» булочной был привлечен к ответственности, «но по недостаточности улик дело это в отношении его производством прекращено».

Следующий этап — Нижний - Новгород, куда Горький переехал в 1889 году. Там он поселился совместно с поднадзорными — учителем Чекиным и студентом Сомовым. Троица эта обратила на себя, разумеется, благосклонное

---

[1] См. «Былое» 1918 г., июнь, № 12. «М. Горький» (материалы, собранные д--том полиции, с примечаниями М. Горького). Более подробные данные находим в статье «М. Горький по делам Нижегородского губ. жанд. управления», напечатанной во II т. «Материалы по истории революц. движения», Нижегородского Истпарта.

внимание начальства. В одном из донесений сказано «Жизнь этих трех лиц и общение между собою велись на коммунных (!) началах». По распоряжению из Петербурга, студент Сомов должен был быть подвергнут аресту. Однако при обыске ни Сомова, ни Чекина не оказалось, арестован был (14 октября) только Горький. При допросе он отговаривался незнанием местопребывания Сомова и вообще, как сообщает рапорт, «держал себя в высшей степени дерзко и нахально». Следствием руководил лично начальник жандармского управления ген. Познанский, человек незаурядный и оригинальный. В «Автобиографических рассказах» М. Горький уделяет пару ярких страниц этому человеку, который показался молодому «преступнику»—«заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять». Во время допроса генерал показал арестованному коллекцию собираемых им медалей, с большим увлечением говорил о птицах и их ловле. Любопытно отметить, что Познанский по найденным у еще не печатавшегося Пешкова рукописям разгадал его литературный талант. Когда через десять лет ставший знаменитостью писатель снова был арестован, то сын уже умершего генерала—тоже жандарм—передал Горькому, что старик до конца жизни интересовался его судьбой и поручил сыну, при встрече с писателем, передать ему на память часть коллекции медалей, в свое время понравившихся Горькому.

Ввиду ареста Сомова в Казани, Горький был вскоре освобожден, хотя генерал Познанский в заключительном отзыве сообщал о Пешкове, что «он представляет собою удобную почву для содействия неблагонадежному люду России, что он был знаком с неблагонадежными личностями, что он в среде их имел особую кличку, что он читал сочинения особенного, не вполне желаемого и не соответствующего его развитию и полученному им образованию направления».

О последующем движении революционной судьбы Горького мы в официальных документах до 1897 г. не встречаем никаких следов. В примечаниях к департаментской справке М. Горький, однако, кратко вносит существенные поправки в этот восьмилетний пробел: арест в 1892 г. в Майкопе по делу о казачьем «чумном бунте» и арест в 1897 г. в Нижнем, откуда он был отправлен в Тифлис, где сидел в Метехском замке. Между тем, в материалах департамента, непосредственно за делом Сомова, следует глухое указание: «В 1897 году Пешков вновь привлекался по обвинению в принадлежности к тифлисскому кружку, занимавшемуся пропагандой в среде рабочих, но дело это в отношении его прекращено».

В дальнейшем, охранка имеет уже дело не с безызвестным Алексеем Пешковым, а с знаменитым писателем Горьким. Проживая в Нижнем, он отправляется в марте 1901 г. в Петербург, и жандармы заносят в его формуляр, что он принимал участие в агитации и возбуждении общества по поводу демонстрации у Казанского собора 4 марта и подписал по поводу избиения демонстрантов протест союза писателей. По возвращении 17 апреля в Нижний, Горький (вместе со Скитальцем, Свердловым и Кольберг) был арестован по распоряжению из Петербурга и привлечен к дознанию по обвинению «в издании преступных воззваний к сормовским рабочим, в видах подстрекательства их к беспорядкам». Через месяц Горький, по болезни, был освобожден и подвергнут домашнему аресту. Дело закончилось отдачей под гласный надзор полиции в пределах губернии. Губернатор назначил местом высылки Арзамас. Однако, ввиду болезни, Горький остался в Нижнем, а осенью получил разрешение уехать на полгода в Крым. Проводы его в Ялту сопровождались на вокзале демонстрацией, в которой участвовала толпа более 100 человек из местной интеллигенции и учащейся молодежи. Пелись

запрещенные песни, разбрасывались листки, раздавались «возмутительные» возгласы... Через два дня в театре была произведена попытка произнести речь о том, что «Максим Горький... сослан без следствия и суда».

В апреле 1902 года Горький вернулся в Нижний и поселился в усадьбе близ Арзамаса. В июле того же года дело было окончательно прекращено — и гласный надзор снят. Горький переезжает в Петербург и там завязывает связи с с.-д. группой «Искры» [1].

В том же году Академия Наук избирает Горького почетным академиком по разряду изящной словесности. Это избрание отменяется свыше, что вызывает известный протест Короленко и Чехова, сопровождавшийся сложением ими с себя того же звания.

Наступает 1905 год. По делу 9 января Горького, проживающего в Петербурге, арестовывают и сажают в Петропавловскую крепость. Вот что говорит об этом полицейская справка: «Основанием привлечения его к настоящему дознанию послужили агентурные сведения о при-

---

[1] В книге П. Лепешинского «На повороте» (Петроград. Гос. Изд., 1922) приводится из дел д-та полиции перехваченное конспиративное письмо от 13 октября 1902 г., адресованное за границу и рисующее первое знакомство русских искровцев с Горьким:

«Вероятно, мой Геноссе вам сообщал о нашем свидании с Горьким. Он (Горький) произвел на всех нас чудесное впечатление. Свидание наше носило полуофициальный характер. Была Старуха и мы оба. Мне было крайне отрадно слышать, что все его симпатии лишь на нашей стороне «Освобождение» он читал лишь I-й номер и больше не желает видеть подобную пакость; эс-эрам тоже не сочувствует. Единственным органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь «Искру» и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, нашими всеми изданиями и практикой нашей работы, и так как его сочувствие на нашей стороне, то он и хочет помогать нам, чем может: во-первых, понятно, деньгами, а потом предложил даже, что не может ли он исполнить

надлежности его к Комитету, руководившему противоправительственными организациями по устройству повсеместных стачек и волнений путем подачи петиций об изменении государственного строя. Обыском, произведенным у обвиняемого по тому же делу присяжного поверенного Кедрина, была обнаружена рукопись, содержание коей сводится к изложению событий 9 января 1905 года, а в заключение автор приглашает всех граждан России к немедленной упорной и дружной борьбе с самодержавием, при чем было установлено, что автором рукописи являлся литератор Алексей Максимов Пешков. По сему делу Пешков сначала содержался под стражей в Петропавловской крепости, а затем означенное дознание было прекращено, и он, по распоряжению с.-петербургского генерал-губернатора, был выслан из С.-Петербурга в Ригу, откуда вскоре выбыл в Крым».

После 17 октября Горький создает большую социал-демократическую газету (большевистского направления) «Новая жизнь», вскоре закрытую, по ликвидации «дней свобод».

какое-либо поручение в том городе, куда едет, но я категорически отказалась использовать его в этом отношении,— было бы очень неосновательно давать ему какое-либо рискованное дело. Наши издания и «Искру» мы будем ему, конечно, доставлять. Что касается денег, то у нас с ним установлен договор на бессрочное время. Он нам будет давать каждый год по 5000 р... Он страшно рад, что гарантирован от самозванства, как он выразился,— с чем ему пришлось встретиться раньше. Сам он проживает не больше 30% всего, что зарабатывает. Остальное он отдавал на всякие дела, и большею частью деньги эти тратились неосновательно, теперь же очень рад, что все пойдет в хорошие и верные руки.. Кроме того, он указал нам несколько лиц, с которых можно будет содрать что-нибудь... Он думал, что сможет обеспечить вполне в денежном отношении наше существование, но когда мы ему сказали, что для того, чтобы дело шло хорошо, нам нужно в месяц 3000 р., то он был очень огорчен, что такой суммы в год (36000 р.) он достать не может, но будет прилагать все усилия, чтобы минимум сильно увеличился».

Департаментские сводки указывают еще, что Горький «способствовал увеличению средств» для московского вооруженного восстания путем чтения лекций на платных вечерах и принимал участие в покупке для этой цели оружия.

В 1906 году Горький выезжает за границу и проводит там энергичную кампанию против заключения внешнего займа царским правительством. За рубежом он все время поддерживает тесные связи с эмигрантскими революционными штабами,—главным образом—большевистским,—оказывая материальную помощь партии (Лондонский съезд). Поселившись в Италии на острове Капри, Горький организует там в 1909 г. «партийную школу» для вызванных из России рабочих, с целью подготовить из них образованных пропагандистов и партийных работников. Одновременно он развивает широкую публицистическую деятельность как в заграничных, так и в русских изданиях. В Россию ему удается вернуться лишь в 1913 году, при чем в первое время, в виду болезни, он проживает в Финляндии. «Дырявые» легкие, со времени покушения на самоубийство, не перестают беспокоить писателя. Временами жизни его угрожала серьезная опасность, и сохранением ее Горький, в значительной мере, обязан д-ру И. И. Манухину.

В полицейских «материалах», относящихся к последнему периоду деятельности писателя, мы встречаем только указание на созданный Горьким во время войны журнал «Летопись» — «большевистского, а значит и пораженческого направления».

Политическая деятельность Горького после февральской революции достаточно памятна и общеизвестна, чтобы на ней здесь останавливаться. Основным ее «документом» явилась газета «Новая Жизнь» и, в частности, собственные в ней статьи Горького — «Несвоевременные мысли», выпущенные отдельным изданием.

VII

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ. — СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ ТВОРЧЕСТВА

Сухая биографическая вставка, сделанная нами выше, показывает, что связь Горького с революционным движением отнюдь не эпизодична и случайна. Но связаться с русской революцией значило связаться с социализмом, и мы, действительно, знаем, что Горький, с первых же шагов своей литературной деятельности, внешне поставил себя в орбиту марксистского социализма, сотрудничая преимущественно в марксистских изданиях, создавая газеты и журналы марксистского направления, так или иначе непосредственно участвуя в социал-демократическом движении.

Однако мы упоминали уже, что в художественных произведениях Горького на протяжении очень длительного периода вовсе не заметно это «марксистское устремление» автора. Не рабочая, пролетарская среда является объектом его внимания, не проблемы массового, классового движения подвергаются художественной переработке писателя. Напротив, мы знаем, что Горький очень долго,—уже прославленный буревестник революции,— бился вокруг антиномии между личностью и обществом, не мог сразу найти синтетического решения этого вопроса, временами как будто приближаясь к индивидуализму ницшеанского толка. Первым произведением, в котором Горький давал формулу наконец обретенного им синтеза, является не реалистический очерк, повесть или рассказ, а написанная «белыми

стихами» декларативная поэма «Человек». Этот с прописной буквы Человек призван в мир, чтобы

расплавить тьму загадок тайных,
найти гармонию между собой и миром,
в себе самом гармонию создать,
и, — озарив весь мрачный хаос жизни
на этой исстрадавшейся земле,
покрытой, как накожною болезнью,
корой несчастий, скорби, гнева, злобы,—
всю злую грязь с нее смести
в могилу прошлого.

Так личность, оставаясь сама собой, создавая внутри себя гармонию, находит и гармонию с миром в социальной действенности, в творческом преображении жизни. Это предопределяет и отношение нашего «я» к чужому «я»:

Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний,
Хочу, чтоб каждый из людей был человеком...
Этот человек хочет: новое создать на выкованных мыслью
Незыблемых началах свободы, красоты и уважения к людям.

До такого скромного и в значительной мере туманного «социалистического минимума» дошел Горький почти накануне 1905 года. А в 1907 г. появляется «Мать» — грандиозная по замыслу и охвату эпопея социалистического рабочего движения.

Существует непроверенный и малоправдоподобный рассказ о том, что на одном из партийных съездов российской социал-демократии группа делегатов рабочих обратилась к присутствовавшему там Горькому с просьбой высказаться о революции и социализме. Писатель ответил, якобы, что он не оратор, говорить не умеет, но просьбу рабочих выполнит, обещая приступить к созданию большого произведения, посвященного социалистической борьбе русского пролетариата. Плодом этого обещания и явилась «Мать».

Итальянцы говорят: «Se non è vero è ben trovato»— «если это и неправда, то хорошо придумано». Действительно, на всей повести лежит печать «работы по заказу», выполнения некоего «задания», чувствуется огромная напряженность художника, исключительное волевое устремление, порой переходящее в явное насилие над собой... Разумеется, речь идет о «заказе» и «задании» не внешнем, не в буквальном смысле этих понятий, а о заказе и задании, поставленных гражданином Пешковым перед художником Горьким. «Мать» выношена в голове писателя, а не «под сердцем». Публицистическая связанность сказывается в повести в размерах еще больших, нежели в обличениях интеллигенции. Однако, несмотря на это, ценность произведения — и общественная и до известной степени художественная—значительно высока.

«Мать» пользуется редким по единодушию непризнанием критики. О недостатках повести так много и убедительно писалось, что нет надобности снова убеждать кого бы то ни было, что эти недостатки — и крупные— действительно существуют. Важнее отметить, что, несмотря на все свои дефекты, «Мать» все же является произведеним крупного калибра.

Прежде всего, грандиозен самый замысел художника. Ни до, ни после «Матери» не появлялось такого широко развернутого революционного полотна. Известно, что некоторых писателей-народников соблазняла мысль дать картину героического движения семидесятников. С этой идеей носился Глеб Успенский, собираясь в центре картины поставить фигуру Германа Лопатина. Писатель отказался от своей мысли, должно быть почувствовав опасность «сорваться» с художественной объективности, сбиться на апологетику и иконопись, — хотя задача была неизмеримо более легкая, чем та, за которую взялся Горький: в движении семидесятничества были только «герои», без «толпы».

И если считать «Мать» вещью абсолютно неудачной, то все же нельзя оспаривать ее значения, как монументального черновика величественной поэмы. Разумеется, поставить этому произведению и с чисто художественно-эстетической стороны сплошной минус—нельзя. Там много прекрасных «горьковских» страниц. Все, что мы встречаем в повести о быте рабочей слободы, статике этого быта — великолепно. Маленькая глава, посвященная жизни и смерти слесаря Михаила Власова (отца героя Павла),—подлинный шедевр. Незабываема сцена истязания Рыбина в волости. Четко вырезан целый ряд фигур,—не говоря уже о выдвинутых на авансцену «героях», память хорошо удерживает Весовщикова, старика Сизова, торговку Корсункову, того же Рыбина и других. Любопытно отметить, что когда печаталась «Мать», она нашла защитника в лице критика, которого, по его признанию, от Горького упорно отделял собственный эстетизм. Этот критик, известный своей научной объективностью и высокой требовательностью — А. Г. Горнфельд — писал, что «Мать» напоминает лучшие вещи Горького: «...Все в рассказе ново и значительно, содержательно и убедительно: и отдельные фигуры, и мелкие подробности. Надо было сохранить еще большой запас жизненных сил и большую силу воссоздания, чтобы так поставить перед читателем угрюмый мир былой фабричной слободки с ее живым воплощением, старым слесарем Власовым, мужем героини рассказа. Тлевшая в нем и загубленная сила какой-то грубой, нелепой правды, выродившаяся только в пьяное и беспощадное озлобление, возродилась в нежном и непреклонном подвижничестве его сына». О Павле критик говорит: «Не замечаешь искусства, с которым сделана из мелких черточек его характеристика» (А. Г. Горнфельд, «Книги и люди». Статья: «Кончился ли Горький»).

Правда, подобные отзывы очень редки, они почти исключение. Как художественное создание, «Мать» признается

вещью, стоящей значительно ниже горьковского уровня; именно со времени появления «Матери» в известной части «критики» и «общества» пошли разговоры о «конце Горького». Совершенно по иному оценила повесть широкая читательская аудитория,—на этот раз аудитория рабочая. Общеизвестно, каким огромным успехом пользовалась «Мать» в рабочей среде. Появившаяся в момент прилива политической и общественной реакции, когда в литературе безраздельно царили упадочные настроения, когда «санинство» было господствующим мотивом в жизни и художественном творчестве,—повесть Горького, устремленная к трудовым истокам социального бытия, насыщенная идеалистической верой в «коллектив», обрела прежде всего, независимо от своей художественной ценности, крупное общественное значение, как достоверное свидетельство и знамение неистребимости той животворящей силы, которая уже казалась погребенной гробокопателями революции.

Однако, при всех сделанных раньше оговорках, «Мать», несомненно, не является продуктом высокого художественного мастерства. Пятнадцать лет тому назад злопыхатели могли отнести это обстоятельство за счет иссякания и упадка таланта Горького. В течение этого периода писатель создал целую серию величайших литературных произведений: «Городок Окуров», «Матвей Кожемякин», «Детство», «В людях», «Хозяин», серию изумительных очерков и рассказов: «По Руси», «Ералаш». Довольствоваться прежним примитивным объяснением, сводившимся к «упадку творчества»—нельзя. Более того,—теперь, при ретроспективной оценке повести, когда мы твердо знаем, что порох в творческой пороховнице писателя отнюдь не иссякал,—тем настоятельнее встает вопрос, почему же ему не удалась «Мать»—произведение, в которое было вложено много сил, любви, и которое было продиктовано страстным желанием сделать нечто величественное и поднимающее душу.

Если присмотреться к повести ближе, то нетрудно увидеть, что художник остается на высоте своего дарования там, где мы имеем перед собой куски черной и страшной жизни. Лучшее в «Матери»—изображение тяжелого быта слободки; лучшие образы—людей, цепко захваченных этим бытом (Михайло Власов); лучшее при обрисовке центральных фигур — это, покуда они еще только отталкиваются от прошлого, входят с ним во внутренний конфликт, но к новым берегам еще не приплыли. Черные краски художника всегда ложатся увереннее и правдивее. Но вот перед нами уже «преображенные» люди или данные готовыми в совершенном виде: все эти «социал-демократы» — Павлы, Андреи, пропагандистки Сашеньки и Наташи, «уверовавшая» мать. Вместо живых людей — житийные лики, абсолютная добродетель, подсахаренность. В чрезмерной, старо-народнического типа идеализации «положительных типов» и заключается основной художественный порок произведения. В литературе приводился очень удачный отзыв одного рабочего о «Матери»: «Нам нужны Глебы Успенские, а не Златовратские». И действительно, в Горьком здесь много от Златовратского, подслащивания героя-пролетария, как прежде подслащивался герой-мужик, и почти ничего от Гл. Успенского — трезво-реалистического подхода к объекту наблюдения. Почему же, однако, художник такого калибра, как Горький, впал в подобное грехопадение?

Глеб Успенский был народником, но, писатель огромной проникновенности, он органически постиг жизнь деревни, жизнь мужика во всей ее связанности законами железной необходимости. Это органическое понимание всеобъемлющей «власти земли»,—которая определяет собой не только формы быта деревни, но всю крестьянскую психику, которая создает «мужицкую душу», формирует его навыки, устремления, желания, отношения к миру и людям,—не позволило Гл. Успенскому лепить шоколадных мужичков

и сделало его истинным народным, мужицким писателем, без помощи которого нельзя изучать русскую деревню.

Перед Горьким, когда он принимался за «Мать», была качественно иная среда,— среда фабрично-заводского пролетариата. Над ней не тяготеет, как над крестьянством, «власть земли», но с такой же неумолимостью подчинена она иным законам необходимости. Как «землица» властно держит в своих объятиях всю «психо-физику» сынов деревни, так и «душу» рабочего определяет факт его социального бытия—наемный труд, прикрепление к фабричному корпусу и машине, общность труда, разделенного с тысячами таких же социальных единиц. Так же органично и рабочее движение, идеологическое устремление которого к социализму есть явление объективно обусловленное, вытекающее из «власти» некоего закона железной необходимости. И, подобно тому, как Глеб Успенский художественно вскрыл «власть земли», пролетарский писатель должен бы прежде всего вскрыть «закон», подчиняющий себе его класс.

У Горького же в «Матери» интеллектуальная и эмоциональная жизнь его рабочих социал - демократических героев не связана никакой высшей необходимостью, она ниоткуда не вытекает, ничем не обусловлена. Мы даже не видим, как они лично пришли к своей «вере». Жил-был молодой рабочий Павел Власов. Старался жить, как все фабричные парни. Пил, курил, купил себе гармонику, яркий галстук, калоши, выучился танцовать кадриль и польку. Но вдруг он начал «уклоняться с торной дороги для всех», стал худеть, приносить с собой книги, читая их по ночам. И готово — ветхий Адам совлечен, Павел стал «непохожим на фабричную молодежь» и превратился в идеальнейшего подвижника и апостола социал - демократии. Но ведь нам интересна не та или иная личность, «уклонившаяся с торной дороги» своего класса и ставшая

на него «непохожей»—а самый класс. Конечно, и рабочее движение знает и имеет своих «героев», поднимающихся над общим уровнем, но «герои» эти остаются в гуще своего класса, с ним неразрывно спаянные. У Павла Власова или Андрея Находки мы этой связи не чувствуем. Это не передовые борцы, органически выросшие из движения и рожденные пролетариатом, а, в сущности, такие же сторонние пропагандисты, как интеллигенты Сашеньки или Наташи. Мы так и не узнаем, почему Павлы и Андреи «додумались» до социализма, почему к социализму влечет и рабочую массу,—просто, очевидно, хорошая и справедливая вещь, мудро устраивающая человеческую жизнь—этот социализм.

Андрей Находка развивает перед «матерью» Власовой следующую социалистическую концепцию:

«...Растет новое сердце, ненько моя милая, новое сердце в жизни растет. Все сердца разбиты различием интересов, все обглоданы слепой жадностью, покусаны завистью, избиты и сочатся гноем... ложью, трусостью... Все люди больные, жить боятся, ходят, как в тумане... Каждый знает только, как зуб его болит. Но вот идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: «эй, вы, тараканы заблудшие! Пора уже понять вам, что у всех один интерес, всем жить надо, все расти хотят!» Один он, этот человек зовущий, и потому кричит громко, ему друзей надо, ему одному-то пусто и холодно. И по зову его все сердца здоровыми своими кусками слагаются в одно огромное сердце—сильное, глубокое, чуткое, как серебряный колокол, которого еще не было отлито. Вот он благовестит нам, этот колокол—соединяйтесь, люди всех стран, в одну семью! Любовь—мать жизни, а не злобы... Я, братья мои, слышу этот звон в мире»...

Ему вторит главный социал-демократический герой:

«Я тоже!—громко сказал Павел».

Вот уж, воистину, слышали звон, да не знают, откуда он... Конечно, от социализма,—выросшего на суровой почве классовой борьбы, повседневного столкновения резко противоречивых насущных интересов, — ровно ничего нет в этой идеалистической декламации об одном для «всех» интересе и «человеке», который «огнем разума» выводит «людей» на путь истинный...

Таков современный пролетарский социализм и его деятели в изображении М. Горького. Но не только в художественных произведениях — и в непосредственных высказываниях писателя мы встречаем аналогичные мотивы.

В 1909 году в Мессине (Италия) произошло землетрясение, разрушившее город и повлекшее десятки тысяч человеческих жертв. В статье, написанной Горьким по поводу этой катастрофы, писатель главным образом останавливается на той воодушевленной работе оказания помощи пострадавшим, которой были охвачены широкие слои итальянского народа—от короля до простолюдина. Это одушевление произвело на писателя «впечатление сказочное, изумляющее в такой степени, что гнетущее душу впечатление трагедии, разрушения и смерти невольно тает, исчезает при виде этой могучей картины жизни, полной в сей день глубоким чувством братского единения всех со всеми—жизни, которая образно и ярко говорит о возможности в будущем великих дней, годов и веков соединенного дружного строительства новых форм бытия, о возможности единодушной, упорной и победоносной борьбы всего человечества против главного и сильнейшего врага его—стихии». Это «братское единение» пленило художника не только как прообраз грядущего — он видит в нем внезапно, при свете трагедии, вспыхнувшую возможность и для нынешнего дня. Он преисполняется надеждой, что после того дня, когда люди «бросились друг к другу возбужденные, на минуту забывая о пропастях, глубоко вырытых между ними исторической

необходимостью—о пропастях, которые так печально, безобразно и пагубно разъединяют их,—многие и многие из молодых и сильных духом не пойдут далее по путям старым, но встанут на путь, ведущий к слиянию всех людей в единую творческую силу». И Горький молитвенно возглашает:

«Да возникнет к жизни гордый человеческий гнев и разбудит в людях энергию мысли и воли и поведет их по пути слияния всех во единую силу,— ей же дано покорить все враждебное человечеству!».

Покойный Г. В. Плеханов, высоко ценивший Горького как художника, дал весьма суровую характеристику его социалистического миросозерцания. «Все говорят одно—не годится такая жизнь. Стесняет. Покуда я этого не слыхал—жил спокойно. А теперь—вижу, ростом я не вышел, а приходится голову нагибать—значит верно, стесняет!»

Приводя эту цитату одного горьковского героя, Плеханов говорит: «Прибавьте к этому несколько фраз о том, что на земле должна царствовать правда, что человек не должен господствовать над человеком, и что поэтому пролетарий должен бороться с буржуазией,— и вы исчерпаете все социалистическое миросозерцание М. Горького».

И в объяснение этой дефективности горьковского социалистического миросозерцания, великий теоретик марксизма выдвигает следующие соображения:

«М. Горький — замечательный и яркий художник. Но даже гениальные художники совершенно беспомощны в области теории... Белинский говаривал, что у художников ум уходит в талант. Немного найдется исключений из этого общего правила. Во всяком случае, М. Горький не принадлежит к числу таких исключений. У него тоже ум ушел в талант... Поэтому и неудачны те его произведения, в которых силен публицистический элемент.

М. Горький сам крайне плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат. Этим объясняются многие

его литературные промахи... Если бы он хорошо переварил эту истину, то те герои, которым он поручает вещать ее, не говорили бы двусмысленного вздора при каждом удобном и неудобном случае»... (Г. В. Плеханов — «От обороны к нападению». Глава — «Исповедь» М. Горького проповедь «новой религии». Стр. 251 — 266.)

Нам думается, что и цитированное определение горьковского социализма и данное Плехановым его объяснение грешат некоторой односторонностью и неполнотой, хотя и как заключают в себе значительную долю истины.

Исчерпать все социалистическое миросозерцание Горького в ощущении тесноты жизни, стремлении к «правде» и чисто моральному протесту против господства человека над человеком, разумеется, нельзя. Здесь явное преувеличение. Тот же Плеханов, незадолго до того как низвел социалистическое миросозерцание Горького до указанных выше куцых размеров, — говоря о другом произведении художника, пьесе «Враги», — усиленно рекомендовал это произведение «всем тем, которых интересует психология современного рабочего движения». Совершенно очевидно, что писатель, способный вскрыть социально-психологический смысл «современного рабочего движения», должен обладать «социалистическим миросозерцанием», гораздо более сложным, чем то, которое приписывает Горькому Плеханов. Но что в «миросозерцании» Горького действительно есть что-то «неладное», что у него явный разлад с тем «миросозерцанием», которое свойственно действенному марксистскому социализму — это бесспорно.

Плеханов полагает, что вся беда Горького в его теоретической беспомощности, в том, что он захотел учить, когда сам «еще далеко не доучился». Стало быть, если бы Горький был сильнее в теории, если бы он досконально проштудировал Маркса,—тогда все обстояло бы благополучно, и его вещи, «в которых силен публицистический элемент»,

не были бы неудачными. Но мы знаем, что в творчестве Горького, вообще, очень «силен публицистический элемент», что не помешало Горькому стать Горьким. Совершенно неосновательно, далее, считать Горького слабым до беспомощности в области теории и изображать его в этом отношении чуть ли не каким-то недорослем, которому следует «доучиваться». Горький—высоко и всесторонне образованный человек, теоретически знакомый, в частности, и с социализмом не хуже любого из нас, которым так нетрудно вскрыть в художественных произведениях писателя его якобы «теоретическую беспомощность».

Вообще, весь подход Плеханова к Горькому с этой стороны неверен, идеалистичен, построен на крайней переоценке значения рациональных моментов в художественном творчестве. Художник не теоретизирует, не рассуждает — он в образах показывает нам то, что видит в жизни. Конечно, чем более вооружен писатель научным знанием или «теорией», тем доступнее для него проникновение в сокровенные глубины мира и его явлений. Но не «теория», не фактическое знание определяет, в конечном счете, ценность художественного произведения, и та правда, которая раскрывается нам в нем, может не совпадать и расходиться с правдой голого факта. Ученые могут, сколько им угодно, неопровержимо доказывать, что Наполеон или Кутузов в «Войне и мире» у Л. Толстого имеют мало общего с историческим Наполеоном и историческим Кутузовым,— но это ведь ни для кого не служит «отводом» против гениального произведения и не лишает названных толстовских героев бессмертия в мере, быть может, большей, чем это обеспечено им историей, как реальным личностям.

И если Плеханов, вкладывая в свои слова чисто рационалистический смысл, утверждает, что Горький «крайне плохо переварил ту истину, которую несет миру пролетариат», то позволительно поставить вопрос,—почему же именно эту

истину он «плохо переварил»? Оттого ли, что не прочитал таких-то и таких-то книжек или же пролетарская поэзия его оказалась, по слову Пушкина, «глуповатой» в силу причин органического, от интеллектуальной воли ее творца независящего порядка?

Художник не есть явление вневременное, внеисторическое, внесоциальное,—это довольно избитая истина. Его порождает определенная среда, его личность складывается под воздействием конкретных условий общественного развития. И чем крупнее художник, чем больше ему дано природой—тем сильнее сказывается в его творчестве пуповина, связывающая его с тем реальным миром, одновременно продуктом и выражением которого он является.

Горький пришел в литературу и сложился в эпоху, когда, по его образной характеристике, «спустилась справедливая рука истории в темную гущу русской жизни до самого дна и взмесила, перепутала, взбунтовала все извечно устоявшееся в ней, взбодрив добрые начала жадным стремлением к развитию, вызвав смертные судороги злых начал». Сам выходец из этой «темной гущи», социально разлагающейся, стоящей на грани пауперизма мелко-мещанской «слободской» среды, Горький стал выразителем указанного им исторического процесса «взмешивания» и «перепутывания» извечно устоявшихся «начал». Десятилетие, определившее Горького, характеризуется крайней динамичностью и пестротой общественных явлений: с одной стороны, начавшиеся «смертные судороги» самодержавно-помещичьей реакции, с другой—«жадное стремление к развитию», охватившее все классы и группы, не выполнившие еще своего исторического предначертания и задыхавшиеся от сковывавшего ига «злых начал». Под общей формулой «освободительного движения» скрывались еще четко не «отдифференцированные» интересы различных общественных слоев. Свержение царизма рисовалось, как национальная задача, как

дело русского народа. И поскольку в освободительной борьбе руководящая роль выпала на долю пролетариата, все движение естественно приняло социалистическую окраску.

Эта «общенародная» трудовая Россия—пестрый и сложный мужицко-рабоче-мещанский агломерат — и создала Горького. Не крестьянская стихия, не классово-пролетарское движение, не бунт замордованного окуровского мещанства в отдельности вынесли наверх Горького,—взбаламученное российское море, в котором слились все потоки народной стихии, подняло его на своем вздыбленном гребне. «Социалистическое миросозерцание» Горького может быть понято и оценено только в свете его своеобразной социальной генеалогии. В этом мире созерцания классовый момент еще только начинает прощупываться. Внимание Горького, вообще, редко устремляется в сторону одного определенного класса. Соответствующие — «с заранее обдуманным намерением» — попытки не удаются («Мать»). «Истина, которую несет миру пролетариат», вовсе не является для Горького истиной одного пролетариата, органическим создателем его дифференцированного классового бытия. Вслед за «Матерью» он пишет «Лето» —псалом социалистическому воскрешению деревни, и ту же «истину», которую мы слышали из уст Андрея Находки, повторяют в тех же почти выражениях герои «Лета». Снова и снова раздаются «большие и огненные слова» о «великом и живом деле — слиянии людей», о «трепетных объятиях в радости и любви на жизнь и на смерть». За «Летом» следует «Исповедь»,—и опять, в лице Матвея, перед нами лишь несколько перелицованный на «богостроительский» лад Находка.

Подлинным героем Горького неизменно является не рабочий, не мужик, не бродячий человек, странствующий в поисках правды, а русский народ — «народушко» бессмертный. Павел Власов, Егор Досекин, странник Иона —

явления равноценные, равнокачественные, одинаково взыскующие вышнего града и создающие его по велению разума.

Социализм в произведениях Горького вырастает не на почве закономерной исторической необходимости, как естественная идеология классового пролетарского движения, а носит надклассовый идеалистический характер, в соответствии с пестротой социального «блока», породившего художника.

Поскольку социализм ставит задачи планетарного, общечеловеческого размаха; поскольку в нем, в качестве Демиурга истории, фигурирует народ; поскольку он знаменует собой конечное торжество преображение и выпрямление человеческой личности, заключая в себе пламенный протест против угнетения, эксплоатации и всяческого принижения в рамках сущего мира,—он имеет в Горьком одного из вдохновенных певцов.

С особенной яркостью сказывается в Горьком социалистическая стихия в его преклонении, доходящем до обоготворения, перед творческим пафосом человека, гениальной силой труда, величием созидательных процессов в природе и жизни.

Героической поэзией труда насыщено—сознательно и бессознательно—все творчество Горького. Можно составить целую хрестоматию из отрывков его произведений, в которых с неистовой и буйной восторженностью возглашается осанна процессу чудодейственного пересоздания человеком природы, подчинения себе слепой материи. Нет такой катастрофы,—будь то пожар или, как мы уже видели, даже землетрясение,—в котором бы художник прежде всего не отметил, не выдвинул на первый план победного творческого начала одоления стихии. Самый тяжелый, неприглядный, каторжный труд озарен у Горького каким-то внутренним огнем, превращен в радостную мистерию.

Баржа села на камень. Товар с нее нужно срочно перегрузить. Ленивая, полусонная русская артель принимается за дело. Подрядчик сулит три ведра водки,—и вот вихрем разгорается работа:

«Я тоже хватал мешки, — пишет Горький, — тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя—месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят. Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания... Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею. Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки... И до двух часов дня, пока не перегрузили товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставляя меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля».

Горький неутомим в гимнах труду; его вера в человека и в общечеловеческий коллектив есть не что иное как твердая вера в гигантские, неиссякаемые источники потенциальной творческой энергии; его отрицание старого мира вызвано скорбным сознанием, что теперь эта драгоценная энергия пропадает втуне, не покрывая землю чудесами, которые она способна содеять.

Горький—подлинный, кровный поэт творческой стихии, человеческого труда, создающего духовные и материальные ценности. Здесь Горький никогда не изменяет себе, здесь, вне зависимости от всяких «теорий», худо или хорошо

«переваренных», он является истинным социалистом, самым цельным, величественным и непосредственным среди всех художников слова; здесь же, отчасти, кроется секрет того обаяния, которым он пользуется среди трудящихся, видящих и чувствующих в нем выразителя своей стихии.

С особенным подъемом, волнением и восторгом говорит Горький о женщине. Женщина для него — всегда мать, неизменное олицетворение творческого начала. Она всегда дает миру, обогащает его, а не отнимает; рождая человека, она является источником вечной жизни. Женщина—мать всего человечества, она дарит жизнь и охраняет ее, она—символ всего созидающего, творческого. Глаза женщины—это «святые глаза родительницы», которые всегда горят «огнем неисчерпаемой любви». Целомудренная простота замечательного рассказа «Рождение человека» не может скрыть того трепета, которым охвачен художник перед великим таинством вечно обновляющейся жизни.

И он не устает славословить Мать:

«Прославим женщину-мать, неиссякающий источник всеобъединяющей жизни!

Прославим в мире женщину-мать, единую силу, перед которой склоняется смерть!

Восславим женщину-мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери,—вот что насыщает нас любовью к жизни».

Горький смотрел на женщину, как Матвей Кожемякин смотрел на пленившую его красавицу клирошанку:

«...Ему казалось, что однажды женщина сбросит с плеч своих все темное и явится перед людьми, прекрасная и чистая, как белая лебедь сказки, явится и, простирая людям крепкие руки, скажет голосом Василисы Премудрой:

— Я мать всего сущего.

Тогда всем станет стыдно перед нею, стыдно до слез покаяния, и все, поклонясь мудрой красоте ее, обновят жизнь светлою силой любви»...

Революция, призванная родить новый мир, есть творческая стихия. Стало быть, она тоже женщина, тоже мать. И не случайно Горький принимается за грандиозную попытку в одном образе Пелагеи Ниловны Власовой слить революцию и мать...

Труд, творчество, делание,— таков «смысл жизни» по Горькому, критерий, при помощи которого он дает меру людям, вещам и явлениям. Ничего книжного, надуманного, искусственного здесь нет,—это цельное, органическое мироощущение художника, одинаково «переваренное» и «умом» и «талантом».

Человеческий труд способен творить чудеса. Возможности его безграничны. Коллективная воля человечества, его бессмертный разум уже многое преодолели, уже в значительной мере покорили себе слепые силы природы. Победа может быть окончательной, земля может превратиться в нечто несказанно цветущее и прекрасное, если создан будет такой строй общественных отношений, при котором ни одно человеческое усилие не пропадет даром и путь восхождения человека «все вперед и выше» в борьбе с материей будет расчищен от всяких препятствий. Смысл революции только в этом, она велика и благословенна только потому, что призвана породить небывалый подъем трудовой энергии. Революция — для труда, творческой борьбы, преодолений и взлетов, которые достанутся не легко. Вне этого нет оправдания для революции, и писатель, наслушавшись речей собеседника-рабочего, который говорил, что не нужно никакой «техники», заставляющей лишь больше работать, а хочется иметь только свой угол и бабу, — в пессимистическом раздумьи ставит ужасающий его вопрос:

«А что если, действительно, миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда—максимум наслаждения, это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия».

* * *

Мы видели, что социалистическое миросозерцание Горького нельзя «исчерпать» той нарочито упрощенной и иронической формулировкой, которую придал ему Плеханов. Творчество Горького есть творчество писателя-социалиста прежде всего потому, что оно насквозь пропитано здоровым запахом трудового пота. Но связать это творчество с пролетариатом, видеть в нем художественную эманацию классового рабочего движения было бы, действительно, натяжкой. И натянутость, искусственная приподнятость как раз чувствуется в тех произведениях, где художник хочет заставить себя выступить в роли певца пролетариата. Изображение классовой борьбы решительно не дается художнику,— не ею определяется душевный склад его героев из рабочей среды, их мысли, чувства и желания.

Даже в драматических сценах «Врагов», где писатель стремился дать картину массового движения и сознательно обошелся без «героев» типа Павла Власова, даже в этом произведении,— которое, как мы знаем, Плеханов считал образцом социально-психологического отражения пролетарской классовой борьбы,— в конце концов не видно ничего специфически-«пролетарского», качественно нового и отличного от движения какого-либо другого класса, например, крестьянства. Плеханов особенно выделяет сцену, в которой рабочие Левшин и Ягодин предлагают своему молодому товарищу Рябцову взять на себя вину за несодеянное им преступление: «Потревожат лучших, которые дороже

тебя, Пашок, для товарищеского дела». И Пашок, без сопротивления, с полным сознанием необходимости этого, оговаривает себя, как убийцу. Здесь дан, действительно, высокий образец чувства связи с массой,—но разве это только является характерной чертой рабочего движения? Разве здесь, в иной обстановке, не звучит хорошо знакомый мужицкий мотив—«пострадать за мир», который есть «великий человек»? И другая психологическая черта рабочего—участника своего классового движения, выделенная и «рекомендованная» Плехановым во «Врагах»,—«спокойная вера в свою правду»,—отнюдь не является монополией пролетариата, ибо «спокойствие», т.-е. достижение внутренней душевной гармонии свойственно всякой твердой вере в свою правду, независимо от ее содержания.

Характерно, что когда художник берет рабочего изолированно, вне классовой борьбы, как человеческую особь, еще социально не осознавшую себя, или как личность, переживающую душевный разлад,—образы становятся жизненными, яркими, приобретают плоть и кровь, которых так нехватает всем этим добродетельным и премудрым «социал-демократам» и «богостроителям». Лучшим произведением из рабочей жизни является у Горького «Хозяин», рисующее булочное заведение Василия Семенова, в котором писатель работал, проживая в Казани. Там нет пророков, взывающих к созданию колокола, сливающего «все» сердца,—а живые страдающие люди, задавленные тьмой, тяжелым трудом и нуждой. Почти каждый из них «переживает мучительный и неизбежный перелом души: родилась она и тихо выросла в деревне, а теперь город сотнями маленьких молоточков ковал на свой лад эту мягкую, податливую душу, расширяя и суживая ее». Перед нами—первая стадия «выварки» в капиталистическом котле. Жуткая, безрадостная, воистину «страшная» жизнь,—из нее не видать ни выхода, ни просвета. И эту жизнь, в которой нет

еще и зародыша классового «становления» и самосознания, Горький, как и жизнь слесаря Михаила Власова, изображает с редким мастерством. В рассказе «Мордовка» герой — рабочий, но уже осознавший свою историческую миссию, активный участник движения. Но это не схема, а живая личность, подверженная многообразным жизненным воздействиям. Неудачная семейная жизнь служит причиной душевного беспокойства Макова. Жена его — не Мария, а Марфа. То, что муж ее «забастовщик», населяет ее страхом за судьбу семьи, за сытое существование свое и детей. Она хочет, чтобы он забросил свои «глупости» и думал только о доме; попреки и жалобы не сходят с ее уст. Маков переживает глубокую драму. Он чувствует потребность в поддержке и именно женской поддержке в своей борьбе. В поисках этой товарищеской, душевной ласки он сходится с «мордовкой» Лизой и находит то, что искал. Но он, повторяем, живой человек, и поэтому задача не решена: он не может расстаться с женой, бросить детей. Узел стал еще запутаннее и сложнее, — добровольный, полный самопожертвования уход Лизы, конечно, не мог его развязать...

Рассказ хорош и полон глубокой жизненной правды, но герой его, рабочий-социалист показан нам, так сказать, в разрезе личной драмы, а не на фоне своего класса...

Говоря о социалистических мотивах в творчестве Горького, следует отметить еще одну черту, не лишенную поучительности.

Колыбель современного социализма, его духовная родина, великая плавильня его идей—город. Вне города не может быть ни усвоена идеология социализма, ни понята его психология. Пролетарский поэт есть поэт городской по преимуществу. В творчестве же Горького почти не ощущается стихия города. Она мало задела душу художника, слабо отразила в ней свой мятежный и ярый облик.

Напротив, у Горького можно встретить немало мест, исполненных «проклятия зверю» капиталистического города, раздражения против его «оглушительной симфонии». Еще в «Челкаше», давая во введении картину работы гавани,—«бешено-страстного гимна Меркурию», в котором сливается «звон якорных цепей, грохот сцеплений у вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат»,—художник мечтает о катастрофе и взрыве, «за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум — оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно». С народническим привкусом рисовал Горький и «Город Желтого Дьявола» в своих полупублицистических американских очерках. Признания в нелюбви к городу часто вкладываются им в уста героев, обычно высказывающих сокровенные мысли автора. Один из таких героев (в «Исповеди») говорит: «Городов я не любил. Жадный шум их и эта бесшабашная торговля всем—несносны были мне, обалдевшие от суеты города—чужды. Кабаков—избыток, церкви—лишние, построены горы домов—а жить тесно, людей много и все не для себя,—каждый привязан к делу и, видимо, всю жизнь бегает по одной линии, как пес на цепи».

Слабо связанное со стихиями современного капиталистического города и классовой пролетарской борьбы — социалистическое творчество Горького в этой своей, с марксистской точки зрения, «дефективности» отразило несовершенство и недозрелость нашего общественного развития.

Рабочий класс едва только успел ответвиться от своего общего крестьянского и ремесленнического, мелко-буржуаз-

ного ствола, и процесс оформления соответствующего «сознания» естественно отставал от «бытия». Быстрый, европейский темп капиталистического развития царской России начал сказываться, в сущности, в последнем десятилетии XIX века, и первая русская революция не знала еще «потомственного пролетариата», имея дело с первым его поколением—непосредственными выходцами из деревень, уездных городков и мещанских слобод. Да и ко времени второй революции «чистокровные» пролетарские элементы, совершенно эмансипированные от чужеродной социальной среды, составляли незначительное меньшинство в рабочем классе... Конечно, капиталистическая материальная культура сделала в конце XIX и начале XX в.в. огромные завоевания в России, но не следует, однако, упускать из вида относительного, все же, характера этих завоеваний, не забывая, что, в конечном счете, крупный, передовой капитализм осел редкими очагами, что процент численности пролетарского населения так и не достиг двузначной цифры, что страна продолжала оставаться земледельческим, мужицким царством. Эта обстановка, сыгравшая решающую роль в социально-политических судьбах страны, когда пробил час их свершения, не могла не сказаться на творчестве такого коренного и аутентичного художественного выразителя трудящихся масс, как Горький.

Не потому плох его социализм, что писатель «не переварил» марксистскую теорию, а потому, что русская действительность не успела еще как следует «переварить» все те исторически необходимые элементы, которые создают предпосылку для зрелого классового социалистического движения...

VIII

ОКУРОВ. — РОССИЯ. — НАРОД

«Мать», «Лето», «Исповедь» — явились произведениями, в которых учительство, проповедь, дидактизм дошли до предельного пункта. С очевидностью, не оставлявшей никаких сомнений, писатель приносил в жертву художественную правду и внутреннюю свободу надуманным и книжным концепциям, над которыми довлела злоба дня. «В битвах жизни подо мной пал крылатый конь поэзии»,— мог бы сказать о себе словами Ибсена Горький — творец «социал-демократических», «богостроительских» и т. п. программно-декларативных произведений. Та излишняя страстность, та нервная приподнятость, с которой художник утверждал свою «новую веру» в чудодейственную силу «коллектива», свидетельствовала о какой-то червоточине и неблагополучии, эту веру разъедавших.

«С праздником великим, русский народ!»

«Богостроитель — это суть народушко. Неисчислимый, мировой народ; великомученик велий, чем все церковью прославленные, сей бо еси бог, творяй чудеса! Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни единое и несомненное, он отец всех богов бывших и будущих!»

«Ты еси мой бог и творец всех богов, соткавший их из красоты духа твоего в труде и мятеже исканий твоих!»

Несутся, обгоняя друг друга, молитвенные слова, возносятся во славу коллектива экстатические песнопения,—но

читатель остается холодным, заражаясь инстинктивно ощущаемым внутренним холодом художника, который тщетно подогревает себя «нахватанными, как огурцы с чужого огорода, наворованными мыслями»...

Припомним уже отмеченную сцену из драмы «Враги», когда девушка-интеллигентка, наблюдая арест рабочих, спрашивает:

«Да почему они так просты,— просто говорят, просто и страдают? Почему? В них нет страсти? Нет героизма?»

«Они спокойно верят в свою правду», — получает она в ответ.

Вот этой-то простоты и спокойствия,— свойственных каждой твердой, кровной, органической вере — и лишена та судорожная, напряженная до крика «вера», которую Горький так настойчиво и демонстративно, так напоказ выпячивает в «Матери», «Лете», «Исповеди». Словно стремится он своими исступлениями—«Верую, верую»— избыть, спрятать от себя и других гнетущее безверие, «перекричать» великое сомнение, терзающее душу...

Перечисленные выше произведения написаны были после революции 1905 года,— первого великого исторического экзамена, который сдавал русский народ. Горький с трепетом ждал ее появления и с восторгом принял ее пришествие. Лучше многих знал этот сын народа, как необходима могучая встряска сонному телу его родины, как гибельно для ее материальных и духовных сил дальнейшее оцепенение под мертвящим саваном тьмы и бесправия. В его сознании революция являлась не только политической задачей — она знаменовала для него испытание способности русского народа к борьбе с самим собой, с теми роковыми и злокачественными особенностями его быта и духа, которые создала рабская и мучительная история страны. И поражение революции особенно болезненно было воспринято писателем именно потому, что он видел в нем не простую

физическую победу социально-реактивных классов, а свидетельство духовной нищеты народа, слабости его творческих сил, неуменья и нежелания преодолеть в себе ветхого и косного Адама. Богатый трезвым знанием русской жизни и русского человека, Горький не мог не сознавать, с какими трудностями сопряжена у нас творческая революция и как много данных есть за то, что она способна выродиться в «бессмысленный и жестокий бунт». Певец, всю жизнь звавший к очистительному, преображающему подвигу и дерзанию, он,—в годы, когда надежды на преображение казались уже развеянными, когда от очищающего пожара остались лишь дымящиеся головни, — счел себя обязанным с тем большей настойчивостью, горячностью и буйством звать, вдохновлять, славословить, пытаясь гальванизировать труп перегоревшего подвига.

«Ты велик, всемогущ, чудотворен»,—взывал он к «народушке», поздравляя его с праздником и близким воскресением — в момент, когда уместнее было бы говорить о смерти и погребении...

«Ты источник всех благ, творец всего сущего, бог всех богов—ты все можешь»;—акафисты звучали, как заклинанья, но чем неистовее «шаманил» художник, чем с бо́льшим энтузиазмом распластывался он перед божеством — тем менее убеждал и заражал этот восторг, тем сильнее закрадывалось сомнение в цельности и восторга и веры, его породившей...

Предел прозелитизма, утешительства, учительства был достигнут. Дальше по этому пути уже некуда было итти. И если Михайловский сказал, что в «На дне» Горький исчерпал тему босячества до дна, то с неменьшим основанием можно утверждать, что «Исповедью» исповедался и причащался проповедник, чтобы уступить дорогу чистому художнику.

И действительно в творчестве Горького наступает коренной перелом. Не этап, не очередной сдвиг, а именно

перелом. Начиная с «Городка Окурова» до произведений наших дней, развертывается эпическое, свободное от проповедничества и возвышающих обманов повествование о Руси, живом русском народе. «Волнуясь», но «не спеша», свободно отдавшись впечатлениям своей богатой жизни, без рассуждений и наставлений,— выписывает художник великую и скорбную летопись настоящей, подлинной русской жизни. И с каждым новым произведением все более расцветает, становится все углубленнее и величественнее воспрянувшее во весь свой рост, ничем не стесненное дарование Горького. Прикосновение к родной стихии вызвало у него, как у Антея, прикоснувшегося к земле, могучий прилив творческих сил. Только теперь, только начав свое сказание о русском народе, до конца раскрывает перед нами художник свою, уже ничем не прикрашенную правду. Отныне, в качестве «сентенций, направляющих ум», остались те три изречения, которые дьячок, учитель Матвея Кожемякина, продиктовал своему питомцу, приступившему, по совету наставника, к записи «рассказов, песен и разных случаев из жизни города Окурова Воргородской губернии».

Вот они, эти «направляющие ум» сентенции:

«Не осуждаю, а свидетельствую»,

«Жизнь человека—скоропреходяща, деяния же его века жить достойны иногда».

И, наконец, самая главная, которую дьячок велел написать «покрасивее»:

> И птичка скромная гласит своею песней,
> Что правда вымыслов живее и чудесней.

Под знаком этой «живой правды» открылся с «Городка Окурова» новый цикл горьковского творчества.

«Пестрый» город Окуров разделен речкой Путаницей на две части: Шихан, где живут «лучшие люди»—купцы, начальство, чиновничество, интеллигенция, и Заречье —

«там ютится низкое мещанство». На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье — около семисот человек. Заречане — частью мелкие ремесленники, а по преимуществу люди случайных и проблематических профессий — жили в исконной вражде с обитателями Шихана: «Сытое мещанство смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров; заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан грошелюбами и пятакоедами». Единственным пунктом «смычки» между городом и слободой являлся расположенный в Заречьи «Фелицатин раишко» — публичный дом, в составе трех девиц: Паши, Розочки и Лодки, сторожа Четыхера и содержательницы Фелицаты Назаровны Воеводиной.

Повествование охватывает период девятисотых годов,— русско-японскую войну, революцию пятого года. Жизнь уже взволнована, устои поколеблены, сознание изборождено новыми чувствами и настроениями. Люди начинают задумываться над смыслом своего существования, о своем месте в жизни, о родине, народе...

Идеолог потревоженного заречного мещанства, кривой Яков Тиунов, говорит:

«Что же — Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов — считай — десятка четыре, а уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия!..»

И на носящий характер возражения вопрос: «Ну, а, примерно, Москва?» — Тиунов дает образный ответ:

«Что ж Москва? — медленно говорит кривой, закатив темное око свое под лоб.— Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха — год не стирана, штаны — едва стыд прикрывают, в брюхе — как в кармане — сор да крошки, а шапка была бы хорошая, скажем — бобровая шапка! Вот те и Москва!».

Итак, большой город, капиталистическая культура — у нас только «бобровая шапка» на беспортошном. Не Москва

определяет физиономию страны, а «Окуров», не в индустриальном рабочем, а в зареченском мещанине надо искать подлинного героя русской городской жизни, и, стало быть, ключ к уразумению общественных явлений, в том числе и революции, лежит здесь же, на берегах реки Путаницы.

Строй душ заречных жителей слободской поэт Сима Девушкин выразил в печальных стихах:

Позади у нас—леса,
Впереди—болото,
Господи! Помилуй нас!
Жить нам не охота.
Скушно, тесно, голодно,
Никакой отрады!
Многие живут лет сто,—
А зачем их надо?
Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так—живи скорей,
Да и на кладбище!

Пусть стихи эти выражают, в значительной мере, окуровское прошлое, пусть теперь окуровцы уже не сводят свои стремления к одной лишь обильной «пище», пусть мятутся в поисках «правды», новой, лучшей жизни,— не бесплодны ли эти порывы, не тщетны ли все усилия вывести людей Окурова из тьмы лесов и болот, не кладбище ли, действительно, уготовано ему историей?

Окуров лишен сил и элементов, необходимых для прорыва в будущее, перед ним закрыты пути освобождения. Эта историческая обреченность мещанства, его социальная ненужность мучительно переживается философом и политиком Заречья, Яковом Тиуновым:

«—Мы все—мещане,—говорит он слушателям.—Будем, для понятности, говорить по-азбучному, просто. Чему мы, примерно, соответствуем? По-азбучному сказать:

какое нам место и дело отведено на земле государевой? Вопрос!»

Никто не ответил на этот вопрос.

«Купец ли, дворянин ли и даже мужик,—самый низкий слой земного жителя,—все имеют соответственность тому-другому делу. А наше дело—какое?

Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся.

— Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двух священников, офицера — тоже политический, — никто не может объяснить, кто есть в России мещанин и какому делу-месту соответствует!»

И,—беседуя с типичным продуктом слободской жизни—силачом, буяном, пьяницей и сутенером Вавилой Бурмистровым, живым олицетворением большой и зря гибнущей силы, — Тиунов мастерски вскрывает перед своим собутыльником обусловленность «бытием» его нелепого и дикого «сознания».

«Ты сообрази, — не торопясь, внушал кривой, — отчего твое сердце, подобно маятнику, качается туда-сюда, обманывая всех да и тебя самого? От нетвердой земли под тобою, браток, от того, что ты человек ни к чему не прилепленный, сиречь — мещанин! Надо бы говорить — мещанин, потому все в человеке есть, ну все смешано, переболтано... А стержня—нету! И все мы такие, мешанные изнутри»...

«Вот, гляди! — учит он в другой раз Симу Девушкина: — Живут в России люди, называемые — мещане. Кто их несчастнее—подумай? Есть—цыгане, они все бродяжат: по ярмаркам—мужиков лошадями обманывают, по деревням — кур воруют... А мещане хоть больше на одном месте трутся,—но тоже самые бесполезные в мире жители»...

И вот эта, лишенная стержня, своему делу-месту не соответствующая мещанская окуровская Русь (тут тебе

и Россия!) застигается девятьсот пятым годом. Характер и судьба революции предрешены. Вавила Бурмистров становится ее душой и выразителем:

«—На дыбы встают люди — верно? Пришел день! Слышишь—свобода? Хочу—живу, хочу—нет, а?

Братья!.. Душа получает свободу! Играй душа, — и кончено!

Православный народ!.. Что есть опаснее нашейжизни? И вот пришел день! Пусть каждый схлестнется со своей судьбой — один-на-один, без помехи — верно? Разрушена теснота наша, простирайся народ, как хочешь! Вставай супротив судьбы»...

Ему лишь бы «встать на дыбы», лишь бы было раззудиться плечу и размахнуться руке,—в этом для него ценность «свободы». Его боевой энтузиазм беспредметен: сегодня, под минутным влиянием одного настроения, он может отдать свою сокрушительную силу революции— завтра он найдет себе применение в зверском погроме, поставит себя на службу «союзу русского народа»... Свободный от слепой стихийности Бурмистрова, Яков Тиунов немногим превосходит его в продуманности и ясности своих освободительных устремлений.

«А я тебе скажу открыто, — вещает он:— возникает Россия! Появился народ всех сословий, и все размышляют: почему инородные получили над нами столь сильную власть? И это значит — просыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его!»

Для Вавилы свобода—это возможность «простираться, как хочешь»; Павлуху Стрельцова привлекает в ней заманчивая перспектива завести себе «разные пачпорта» и один месяц жить по-дворянскому, другой — по-купеческому, наконец даже для Тиунова все сводится к шаблонной борьбе с «инородческим засильем». Нелепость перипетий окуровской революции, трагикомизм превращения

Вавилы из «революционера» в погромщика, жалкий финал, героя - да и всей хроники — в полицейском участке, — все это еще более оттеняет сумбурную уродливость того осколка русской действительности, который показан в хронике.

При появлении этого произведения критика реакционного лагеря восторженно подхватила националистические речи Тиунова и, приписывая их Горькому, предвкушала, что мы-де, от него еще и не то услышим. Критика противоположного лагеря, воздавая должное высоким художественным достоинствам «Окурова», недоуменно вопрошала: где же отношение самого автора к изображаемому, и служит ли для него, М. Горького,—буревестника, окуровская революция олицетворением великого потрясения, пережитого страной?

«Городок Окуров» является произведением, по сравнению со всеми предшествующими вещами Горького, наименее «публицистическим». Это, прежде всего, художественная реалистическая летопись. При чтении хроники не может возникнуть сомнения в ее жизненной правдивости. Он выкроен из подлинного тела России — этот намогильным крестом раскинувшийся уездный город. Знание быта и людей, материальной обстановки окуровского существования и его духовного облика—превосходны. Того разрыва между «бытом» и «сознанием» героев, который составлял до сих пор ахиллесову пяту горьковского творчества, не осталось и следа. Напротив, самым ценным достижением художника и является здесь приведение в полное гармоническое соответствие мира действительных явлений и мира «идей». Мысли, чувства, устремления какого-нибудь Матвея из «Исповеди» мало мотивированы,—для нас так и остается загадкой, почему он слоняется по России и занимается строением бога. Не то Вавила Бурмистров или Яков Тиунов: корень их исканий и настроений нам дан

в определенной социальной среде. Бессмысленное, озорное бунтарство, темный и смутный национализм, безысходность мысли и воли,—все это естественные цветы, взрощенные проросшей бурьяном и чертополохом почвой окуровщины. Не там источник живого, творческого начала, не из мещанского болота воссияет свет. Но оно, это болото, существует, и удельный вес его значителен, ибо Россия—«государство уездное»,—уездное и деревенское, добавим мы от себя.

Если уж доискиваться чисто публицистического смысла горьковской хроники, то его можно бы определить, как предостережение художника политическому утопизму справа и слева.

— То, с чем связываете вы сохранение дорогих вам устоев,—как бы говорит художник одним,—ваши национализм и человеконенавистничество—связаны с омертвевшей уже социальной тканью.

— Не увлекайтесь поверхностной видимостью, прекрасной пеной явлений,—обращается он к другим.

— Не забывайте, что «Москва»—только бобровая шапка на голове полуодетого нищего, что за тонким слоем этой «Москвы» лежит тяжелой, нетронутой, способной все раздавить глыбой—окуровщина...

Таково объективное значение произведения, независимо от того, вкладывал ли сознательно автор в него именно подобный смысл.

Еще ярче раскрывается этот смысл в «Матвее Кожемякине». Написанная после «Окурова» повесть эта в действительности является не продолжением, а введением к «Окурову». Художник отходит назад от современности, к семидесятым, восьмидесятым годам, погружаясь в прошлое окуровщины, к его истокам, прощупывая его исторические корни. В «Городке Окурове» Тиунов рассказывает про старичка, который с тринадцати лет пишет —с полпуда бумаги уже исписал—историю для окуровцев.

«Вот, говорит, тружусь, главнейше, для мещанства... Для него, говорит, так как неописуемо обиделиего и обошли всеми дарами природы. Будет, говорит,показано мною, сколь русский народ-мещане злопленненное сословие, и вся судьба мещанской жизни».

Этот старичок и есть Матвей Кожемякин. В жизнеописании его—от раннего детства до смерти—дана художником на протяжении десятилетий прослеженная жизнь Окурова. Кожемякин — не с Заречья, это зажиточный мещанин, купец и мелкий заводчик, — но он человек, тоже «отложившийся от живой жизни», одиночка, как Фома Гордеев, но без его бунтарства и стихийного темперамента. Не Кожемякин, однако, является героем повести: художник сознательно изолировал его от социальной среды, чтобы с этой, поднятой над общим уровнем, обсервационной вышки удобнее было наблюдать и показывать подлинного героя—Россию и ее народ.

Нам придется злоупотребить довольно длинными выписками, чтобы дать представление об этой окуровской Руси.

«На седьмом году его жизни к Матвею была нанята ласковая слободская старушка Макарьевна. Она певучим голосом рассказывала мальчику славные сказки, пела песни о том, как живет бог на небесах, и при этом ее черные добрые глазки блестели мелкими, как жемчужинки на ризе иконы, слезами». Прожив месяца три, она была уличена стряпухой Власьевной в краже каких-то денег.

Тогда отец, Созонт и стряпуха положили ее на скамью посредине кухни, связали под скамьею маленькие руки полотенцем, Власьевна, смеясь, держала ее за ноги, а Созонт, отвернувшись в сторону, молча и угрюмо хлестал по дрожавшему, как студень, телу тонкими прутьями».

Бьют Савку, застигнутого на любовном свидании с хозяйской женой.

«...Лежа у забора вниз лицом, парень дергал руками и ногами, точно плывя по земле; веселый, большой мужик Михайло, высоко поднимая ногу, тяжелыми ударами пятки, черной, точно лошадиное копыто, бухал в его спину, а коренастый добродушный Иван, стоя на коленях, истово ударял по шее Савки, точно стараясь отрубить голову его тупым, красным кулаком.

Оборванный, выпачканный кровью и пылью, парень тыкался лицом в землю и кричал визгливо:

— Бу-удет, бу-у, бра-а-атцы...

С забора советовали:

— Поверните, лешие, да против сердца разок! Эки обломы!

А громкий голос говорил внушительно и солидно:

— Есть люди, которые с продухами под мышками: как ты его не бей—ему ничего. Потому—два дыхания имеет.

...Они говорили громко, улыбались, шутя друг с другом, и, видимо, никто из них не чувствовал ни страха, ни отвращения перед кровью, ни злобы против Савки...

...Теперь, когда он видел, как деловито, истово и беззлобно били человека на смерть, забавляясь избиением, как игрой, и едва ли зная, за что бьют, — теперь Матвей тяжело почувствовал страх перед людьми, спокойно отиравшими о свои грязные портки пальцы, вымазанные кровью товарища по работе...

...Позвали ужинать. Толстая и седая Тиунова—по прозвищу Живая вода—подробно и со вкусом рассказывала о ранах Савки и стонах его; мужики, внимательно слушая ее льстивую речь, ухмылялись. И все наперебой начали добросовестно вспоминать, где и как били их и когда сами они бивали людей.

«Злые или нет?» — думал Матвей, исподлобья оглядывая людей».

Старик Савелий Кожемякин, узнав, что молодая жена его Палага «путается» со своим пасынком, учиняет над

ней холодную, намеренную, лишенную всякого «аффекта» расправу.« Он меня—в живот все ножищами-то... ребеночка, видно, боится...»

Анатомическая теория Пушкаря, успокоительно заверявшего Матвея, что «бабы—они пустые, их можно вот как бить! У мужика внутренности тесно положены, а баба—у нее пространство внутри»,—оказалась несостоятельной: через несколько дней Палага умерла.

Матвею «приходилось разбираться в явлениях почти кошмарных».

Вот видит он рано утром на постройке у собора, как каменщики бросили в творило извести черную собаку.

«Известь только еще гасится, она кипит и булькает; собака горит, ей уже выжгло глаза, захлебываясь, она взвизгивает, судорожно старается выплыть, а рабочие, стоя вокруг творил в белом пару и пыли, смеются и длинными мешалками стукают по голове собаки, погружая искаженную морду в густую, жгучую молочно-белую массу.

«Почто вы ее?»—спросил он. Молодой малый, с круглым, румяным лицом и опудренными известью усами ответил вопросом:—«Твоя, что ли?»—«Нет.»—«Так это мы»,—сказал парень, добродушно ухмыляясь:—смешно больно полощется она».

Вот с гиком и свистом мчатся по улице мальчишки и, хватая грязь, швыряют ею в юродствующего чиновника Черноласкина, «стараясь попасть в его затравленные, бессильно злые глаза... Его коротенькое тело неизъяснимо быстро вертится во все стороны, он устал, из маленьких глаз текут грязные слезы. Из окон домов высовываются «какие-то однообразные мутные лица, слышен одобрительный говорок: «— Уж эти ребятишки, гляди-тко, опять чиновника опевают»...

Так же преследуют мальчишки полоумную «Собачью матку», окружая ее и крича:

«Собачья мать, покажи пачпорт! Покажь пачпорт, Собачья мать...»—Она останавливалась и, высоко вздернув юбку, показывает им желтые ноги, живот и глухо, в такт их крикам, говорила: «Вот вам пачпорт!»

В базарные дни споры крестьян с покупателями нередко разрешались боями. «Матвея поражало обилие поганых и позорных слов в речах людей, поражала легкость, с которой они старались обидеть друг друга, и малая восприимчивость их к этим обидам. Ему казалось, что весь воздух базара пропитан сухой злостью, люди пьянеют от нее и острого недоверия друг к другу, все полны страха быть обманутыми, и каждый хочет обмануть,—словно здесь, на маленькой площади, между пожарною каланчею и церковной колокольнею, в полукруге низеньких торговых рядов сошлись чуждые друг другу, враждебные племена».

У лавок с красным товаром сидят три нищих слепца. «Первейшие забавники»—Петр Толоконников, Вася Хряпов и Маклаков,—подозревая, что слепцы «чай, поди, обманывают», проделывают испытание: кидают им в «зенки» пыль. Они перестали петь и, должно быть, не впервые испытывая такую пробу их зрения, начали спокойно и аккуратно вытирать каменные лица сухими ладонями сморщенных рук»

Эти же «забавники» ловили собак, навязывали им на хвосты разбитые железные ведра и смотрели, смеясь, как испуганное животное с громом и треском мечется по площади, лая и визжа. В сырые дни натирали доски тротуара маслом, любуясь, как прохожий, ступив в натертое место скользил и падал; связывали узелки и тюречки, наполняя их всякой дрянью, бросали на дорогу,—их веселило, когда кто-нибудь поднимал потерянную покупку и пачкал ею руки и одежду. Они любили вырывать с корнями молодые деревья, отламывать скамьи у ворот, разбивать скворешни меткими ударами камней, бросать в дома обывателей через окна тухлые яйца».

Страсть к подобным забавам не составляла привилегии этой троицы,—вся молодежь была охвачена ею.

«Каждый день в хлопотливой суете утра, в жаркой тишине полудня, в тихом шуме вечера раздавался визг и плач,—это били детей. Им давали таски, потасовки, трепки, выволочки, подзатыльники, плюхи и шлепки, секли березовыми прутьями, пороли ремнями...

Избитые мальчишки смеялись друг над другом и тоже дрались; в них незаметно было жалости к животным; осенью, во время перелета, они ловили множество певчих птиц и зря мучили их в тесных, грязных клетках; весною ставили пичужкам силки из конского волоса; попадая в крепкую тонкую петлю, птица билась, ломала себе ноги и часто умирала истерзанная.

Дети, как и взрослые, производили впечатление людей, которые поселились в этом месте временно,—они ничего не любят тут, им ничего не жалко. Город был застроен тесно, и было много пустырей, почти вездена дворах густо росли сорные травы, ветер заносил в огороды их семена, гряды овощей приходилось полоть по два, по три раза, все плодовые деревья в садах были покрыты лишаями, росли коряво, медленно и давали плохой урожай».

Отношение к женщинам—«хуже скотского». В играх молодежи «сквозило желание причинить боль, грубо подчеркнуть превосходство мужской силы», и слезы обиженных девушек «вызывали довольные усмешки парней». Мужские беседы о женщинах—«глубокая грязная лужа, в которой тонула женщина, стыдно обнаженная и точно пиявками густо облепленная клейкими, пакостными словами».

Женщины жили в беспрерывной ссоре между собой: «свекрови колотили снох, матери дочерей, вся жизнь выносилась на улицу в резких криках, в обидных словах и с яростным бесстыдством кликуш оплевывалась желчью, обливалась грязью».

«Всюду чувствовалась жестокость, и в мутном потоке будничной жизни только она выступала яркими пятнами, неустранимо и резко лезла в глаза».

Еще страшнее в своей выразительности эпические лапидарные записи окуровского летописца Матвея Кожемякина о «выдающих», по его определению, событиях городской жизни.

«Слесаря Коптева жена мышьяком отравила. С неделю перед тем он ей, выпивши будучи, щеку до уха разодрал, шубу изрубил топором и сарафан, материно наследство, штофный. Вели ее в тюрьму, а она, будучи в роде как без ума, выйдя на базар, сорвала с себя всю одежу»...

«У Маклаковых беда: Федоров дядя знахарку Тиунову непосильно зашиб. Она ему утин лечила, да по старости, а может, по пьяному делу и урони топор на поясницу ему; он, вскочив с порога, учал ее за волосья трепать да и ударил о порог затылком,—голова у нее треснула, и с того она отдала душу богу»...

«Сегодня актерку хоронили, из тех, что представляют с разрешения начальства в пожарном сарае. Померла она еще четвертого дня, изойдя кровью, от неизвестной причины, а говорят—от побоев».

Маляр опился. Трех бойцов слободских гирьками забили. Портной Синюхин свояченице своей нос откусил. Калистратовым ворота дегтем помазали.

«У чиновника Быстрецова беда: помер в одночасье прибывший гостить брат, офицер, а мертвое мыло из дома не выкинули на перекресток-то...

«Какое мыло? — тихо, точно вздохнув, спросила постоялка.

— Мертвое, которым покойника обмывают... Оно, видите, вредное, его надо на четыре ветра выбрасывать. А Быстрецовы не выбросили, и жена его, видно, умылась мылом этим и пошла вся нарывами,—извините, француз-

ской болезнью. Он ее бить, муж-то, а она красивая, молодая такая»...

О, это еще не все, далеко не все из этой удручающей энциклопедии тьмы, жестокости, злобы, идиотизма, страха, скуки, бессмыслицы, средневековья!

Целые двадцать страниц подряд посвящены изображению кулачных боев. Нет главы, явления, действия, свободных от заушения, издевательства, озорства, дикой нелепицы.

Потрясающая правда глядит своими ледяными глазами, заставляет цепенеть душу, сковывает и гипнотизирует сознание. А то, что это правда,—не может, увы, возникнуть сомнений. Такого не выдумаешь. Впоследствии, в «Детстве» и «В людях», она получает подтверждение автобиографического свидетельства: читателю нетрудно было заметить сходство впечатлений, полученных от действительности Матвеем Кожемякиным и Алексеем Пешковым. В свете этой окуровской правды новым трагическим светом озаряется все творчество Горького. Жить с таким знанием о народе — и молитвенно славословить его; так зорко разбираться «в темной путанице этой нищей, постыдной и страшной жизни» — и пламенно верить в грядущий золотой век, который возникнет на ее развалинах; видеть человеческую душу во всей бездонности ее падения и одичания — и слагать гимны Человеку, утверждать и убеждать, что «это звучит гордо»... Не было ли для Горького его «босячество», его «социал-демократизм», его «богостроительство» и вся длинная и сложная цепь метаний, исканий, проповедничества — «уходом в хохлы», в поисках каждый раз все новой и новой веры, чтобы как-нибудь спрятаться от душившего его кошмара реальной действительности, чтобы «заговорить» во что бы то ни стало эту бредовую явь, от которой нельзя не впасть в отчаяние?..

Да, Россия, народ...

«Набитые полуслепыми людьми,—которые равнодушно верят всему, что не тревожит, не мешает им жить в привычном, грязном, зазорном покое,—распластались, развалились эти чужие друг другу города по великой земле, точно груды кирпича, бревен и досок, заготовленных кем-то, кто хотел возвести сказочно-огромное здание, но тот, кто заготовил все эти богатства—пропал, исчез, и весь дорогой, живой материал тоже пропадает без строителя и хозяина, медленно сгнивая под зимними снегами и дождями длинной осени».

Из всех окуровских жителей только у старого солдата Пушкаря здоровое понимание жизни. «Что такое Россия—знаешь?» наскакивает он на собеседника. «Ей конца нет, России; овраги, болота, степи, пески, — надо все это устроить или нет, бесов кум? Ей все нужно, я знаю, я ее скрозь прошел, в ней работы на двести лет накоплено! Вот и работай и приводи ее в порядок! Наработай, чтобы всем хватило, и шабаш. Вот она, Россия!..»

«...Чтобы всяк человек дела своего достоин был—вот те закон. Тут те всякой жизни оправдание. Работай!..»

Тщетные слова. Ненужные, чуждые Окурову речи. Вот он—типичный окуровский ответ:

«Наплевать мне на все это, было бы сердце спокойно. Всем делам один конец: ходя—умрешь и лежа—умрешь!».

Благословен труд, преображающий землю, создающий все ценности, делающий человека владыкой мира, несущий в себе единственное оправдание и смысл жизни. Как торжественный хорал, звучат у Горького гимны творческому гению человека. Но, присматриваясь к русской жизни, он с отчаянием видит в ней всепобеждающее господство лени, неуважение к труду.

«Все люди на Руси, батенька мой,—говорит Кожемякину дядя Марк,—хотят жить так, чтобы получать как можно больше удовольствия, затрачивая как можно меньше труда.

Это—от востока дано в плоть нам, стремление к удовольствиям без затраты усилий, пагубнейших стремлений»...

Верит ли во что-нибудь этот народ? В «Кожемякине» выведена колоритная фигура Маркуши — вариант Луки из «На дне». Он уверенно и спокойно рассказывает людям про всякие таинственные вещи, про «долю», которая родится вместе с человеком,—«да всю жизнь и ходит за ним, как бы тень его»,—дадут человеку долю и запишут, «с того и говорится: так на роду написано»,—ничего, значит, не поделаешь.

И когда интеллигентка-собеседница, вслушавшись в один из его рассказов, проговорила: «А ведь сами-то вы, Петрович, не верите в эти сказки!»,Маркуша, не моргнув глазом, признается, что ему «пустякам верить зазорно бы»...

«Вы можете объяснить мне,»—продолжается драматический диалог,—зачем вы учите тому, во что у вас нет веры? Ведь вы обманываете людей!

— А они не приставай, люди-то! У меня—своя душа и, может, горше твоей плачет, да-а! А тут спрашивают—что это, это как? Ну, скажешь им: это вот что, а это—вот как, а сам-то думаешь: подите вы к лешему, не до вас! Так ли оно там, не так ли—скажешь им, ну, они будто утешение получат, отстанут будто, глупые!.. Черти есть? Есть. Отстань! Вот-те, барынька, и весь разговор,—и есть—отстань, и нет — отстань! Все эдак говорят, и я тоже. Я знаю дело: во что ни верь—умрешь».

«Какой страшный внутренний разрыв человека с людьми, с миром!—волнуется Евгения Петровна Мансурова.—Все равно, что сказать людям, лишь бы оставили в покое,—в каком покое?.. Ведь он—почва, он—народ... Это—изнутри порабощенный человек! Вспомните, как он говорил о долях! Это возведение своей зависимости в божество, примирение с бессилием своим, какое-то безмерное, глубочайшее и спокойное, невозмутимое отчаяние—вы понимаете?»

Рабы, рабы во всем: в своем фаталистическом смирении, жалкой покорности рабьей «доле», в рабском напряжении к труду—тяжкой и постылой повинности, в жестокости и злобе... Даже присматриваясь к тем, которые как, будто, выбиваются из-под власти окуровской тьмы, художник настороженно ищет и в них проклятых следов проклятого наследия. Вот молодой парень Максим, уже устремленный к будущему, решительно отвергнувший настоящее. Он зол, упрям, заносчив.

«Властный парень,—говорит о нем дядя Марк.—Трудно будет людям около него».

Властность натуры, железо, воля, это—ценные черты, это хорошо, этого, главное, и не хватаетокуровцам. Но писатель не скрывает своих опасений по поводу своеобразия «властности» русского человека. В уста дяди Марка он вкладывает записанное Кожемякиным в дневнике замечание, что «не знает русский человек меры во власти, и что ежели мученному дать в руки власть, так он немедля сам всех мучить начнет, извергом людям будет»...

Невольно вспоминаются слова Горького, сказанные им в 1911 году в «Письме к монархисту», напечатанном в парижской газете «Будущее».

«Будущая революция, даже и вас—полузверей—поразит своей жестокостью, в которой будет много нездорового, вызванного вами из глубины зоологического в человеке; за эти пять лет вы сделали все для того, чтобы люди потеряли представление о ценности жизни своей и чужой, сделали все, что может разбудить в человеке зверя»...

В еще большей мере, с рельефностью, еще более выразительной, чем в «Городке Окурове», звучит со страниц «Матвея Кожемякина» грозное предостережение о России...

«Читали вы их, — говорит Кожемякину о его записях Мансурова,—а я слышала какой-то упрекающий голос, как-будто из дали глубокой, из прошлого некто говорит: ты

куда ушла, куда? Ты французский язык знаешь—а русский? Ты любишь романы читать и чтобы красиво написано было, а вот тебе—роман о мертвом мыле! Ты всемирную историю читывала, а историю души города Окурова—знаешь?»

У народницы-интеллигентки Мансуровой познание Окурова и окуровщины принимает специфически-покаянный привкус, голос летописца звучит для нее «упрекающе». Но,—откинув эту оболочку и не приняв вывода, сделанного Мансуровой о необходимости «войти в простую жизнь, посеять себя вот в таких городах» (воистину, это «слова слабого давления»),—мы не можем не сделать своими ее раздумий. Да, мы «ушли», стремились уйти—куда-то далеко, мы увлеклись «французским языком», «красивыми романами» и «всемирными историями», забывая, в лучшем случае недооценивая нашего окуровского косноязычия, нашей гнетующей и рабской истории, нашего мертвящего быта...

Прославленный, или, вернее, ославленный «романтик»—Горький здесь предстал пред нами, как ярый и непримиримый враг всяческого романтизма. Он настойчиво тычет нас головой в окуровщину и, разворачивая картины одна безжалостнее и мучительно-мрачнее другой, говорит каждой строкой своей хроники:

— Вот она, Россия, Русь, вы, делающие ее судьбы, «социальных дел мастера»! Ищите ее здесь—в этих тысячах Окуровых, которых тесно обступают Воеводины, Обносковы, тьма тем таких же страшных русских деревень. Не прячьтесь от этой правды в вашу «Москву», она жестоко обманет вас, эта «бобровая шапка», если забудете об убогом теле, которое она возглавляет! Отдайте себе трезвый отчет в подлинных свойствах того материала, из которого вы хотите построить храм новой жизни!

Можно было бы впасть в полную безнадежность, если бы считать Окуров явлением непреоборимым и непреходящим. К счастью, это не так. Славно роет неутомимый крот

истории. Неумолимые жернова истории перемелют «уездное»,—все проросшее бурьяном, косное, ненужное для жизни. Окуров—обречен, приговорен к смерти, но длителен и тяжек процесс его умирания, пока он еще существует и цепко «хватает живое», отравляет своими душными и ядовитыми испарениями. Окуров не только в вещах он — в людях, он—огромный резервуар человеческого материала. Окуров может исчезнуть с лица земли, но с ним вместе не так скоро исчезнет окуровщина.

Надо много положить труда, чтобы выкорчевать из русской почвы эти прогнившие пни.

«Государство огромное, гор в нем, оврагов, пустырей — конца краю нет. Вот гляди—бурьян растет: к чему он? Надо, чтобы съедобное росло на земле—горох, примерно, коноплю посей. Работники чрезвычайно надобны — все требует рук. Гору—выравнять, овраг—засыпать, болото—высушить, всю землю—вспахать, засеять, чтобы всем хватило, во-от! Россия, она очень нуждается в работниках».

Но больше всего она нуждается в том, чтобы «работники» ее сознавали, как много в ней оврагов, пустырей, болот. И великая заслуга Горького заключается в том, что он, став на путь решительного предпочтения правды чудесным вымыслам, показал нам во всей ее неприкрашенной реальности необъятную, убогую и больную, мучительную и нелепую—и все же великую, все же прекрасную Русь!

* * *

Да, великую и прекрасную, несмотря ни на что! С великолепным, изумительным, даровитейшим и добрым народом!

«И скажу тебе от сердца слово—хорош есть на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма несчастен, а—хорош, добротный, даровитый народ. Вот ты погляди на него пристально и будешь любить!»—поучает Яков Тиунов поэта Девушкина.

Огромная, могучая, напряженная до пафоса любовь к русскому народу, — не к абстракции не к «идее», а к живому русскому человеку — тому самому, который может швырнуть собаку в творило извести, избить насмерть жену, помыться мертвым мылом, — это «логическое противоречие» потрясает нас в Горьком, придает его произведениям особенный, им одним свойственный аромат, насыщает их исключительной поэтической глубиной и значительностью.

Много страшного и безотрадного было рассказано о русском народе в нашей литературе. Почти одновременно с окуровской хроникой прошумел «Нашим преступлением» Родионов. Бунин дал мастерски сделанную «Деревню». Поведал горькую повесть о днях своей жизни Иван Вольный. Но только о Горьком можно было сказать то, что так проникновенно сказал Александр Блок:

«Если есть что великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем Руси, то выразителем его приходится считать в громадной степени Горького».

Какой-то щемящей и возвышающей грустью, скорбной и просветляющей музыкальностью пронизаны страницы Горького, повествующие о русском народе. Чтобы написать «Городок Окуров», «Матвей Кожемякин», «Хозяин», «Детство», «В людях», «Страсти-мордасти» — недостаточно обладать первоклассным талантом,—надо еще быть кровным сыном этого народа, ощущать в каждом атоме своего существа национальную стихию.

Когда Горький обнажает какую-нибудь гнойную и смердящую язву народной жизни, нельзя не почувствовать, что это сделано не дворянином-злопыхателем, не бесстрастным протоколистом жизни, способным к эстетическому любованию язвой. Мукой, болью, сыновьим криком звучит его летопись.

Та черта, которую в дяде Марке отметил и примитивно выразил Кожемякин, в высокой степени свойственна Горькому.

«Хороша эта привыча у него—показывать при всяком случае, что и за злым может быть скрыто доброе начало, а всегда всему помеха—человечья чугунная глупость».

Нам уже пришлось обнаружить эту горьковскую «привычку», когда мы знакомились с впечатлениями детства и отрочества. Уже тогда, маленьким мальчиком, умел он за «злым» вскрывать таящееся под ним «доброе начало»,—вспомним его отношение к дедушке Каширину. Эту способность сохранил он на всю жизнь. В суровой, темной, запутанной окуровской душе жадно ищет он и находит кажущиеся неожиданными нежные и полнозвучные струны. Нужна великая любовь к народу, беспредельное уважение к человеческой личности, чтобы так убедительно и ярко, без малейшей примеси сентиментальности раскрывать в замордованном, полудиком человеке из народа драгоценные жемчужные зерна.

IX

ПУБЛИЦИСТИКА.—СТИЛЬ.—ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та же безмерная и мужественная любовь не раз вкладывала в руки художника перо публициста. О публицистике Горького сложилась весьма плохая репутация. Несложен был бы труд лишний раз показать слабость его аргументации, неудачность тех или других «выступлений», политическую наивность многих его практических выводов. Можно даже позволить себе роскошь утверждения, что вся эта публицистика не нужна, поскольку она большей частью малоубедительно говорит о том, что находим мы в гораздо более убедительной форме в его художественных произведениях.

В самом деле, разве его многочисленные журнальные и газетные статьи, — философско-социологические «трактаты» о «разрушении личности» и «двух душах», отклики на злобы дня—«несвоевременные мысли», литературно-критические высказывания о мещанстве Толстого и Достоевского и постановке «Бесов»,—разве все это, в конце концов, не вариации на одну и ту же тему: о русском народе, его косности, азиатском пассивизме, лени, жестокости, о необходимости активного отношения к жизни, о радости труда, о призвании «человека» — «спорить и не соглашаться»? Нужно ли на-ряду и параллельно с «Городком Окуровым» и «Матвеем Кожемякиным» еще, так сказать, газетно обличать плохие качества русского народа? И многие, сокрушенно качая головами, снисходительно советовали писателю

бросить это нехорошее дело. Советовали, бранили, упрекали, третировали, насмехались — но все же жадно читали каждую строку этой «наивной» и «неумелой» публицистики. Ибо она волновала, она проникала в такие глубины человеческой души, куда не имеют доступа сотни патентованных «королей журналистики», в совершенстве владеющих тайной своего ремесла. Можно из года в год исписывать газетные столбцы научными, обоснованными, умными и талантливыми фельетонами, но дать в десятке строк такую сложную и тонкую гамму интимных мыслей и чувств о народе—может только Горький:

«Мы, Русь,—анархисты по натуре, мы—жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь—ядовитое наследие татарского и крепостного ига, что тоже правда. Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека—кровью плачешь, а ругаешь, ибо он, несчастный, дал и дает право лаять на него тоскливым собачьим лаем, лаем собаки, любовь которой недоступна, непонятна ее дикому хозяину, тоже зверю. Самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокий и в то же время непонятно добродушный,—в конце всего—это талантливый народ».

Фальшью, вызывающей насмешливую улыбку, звучали бы в устах профессионала-публициста лирические признания в любви к народу, но когда Горький кратко бросает: «Да, я мучительно и тревожно люблю Россию, люблю русский народ»; когда он, ожидая от революции всестороннего творчества, говорит: «Мое сердце наполняется великой надеждой и радостью даже в эти проклятые дни, залитые кровью и вином»; когда он, высказывая надежду в близость освобождающего крика—встаньте, мертвые!— возглашает: «И мы встанем, и враги наши будут побеждены. Верю», — нас невольно заражает этот высокий пафос прокаленной в огне

мучительной любви веры. Ее живая вода окропляет все, к чему прикасается Горький,— оттого и статьи его, слабые, быть может, с точки зрения «критики чистого разума», есть одно из самых выдающихся явлений русской публицистики XX века...

* * *

Стиль Горького требует особого изучения. Это дело специалистов-филологов. Имеются, однако, некоторые особенности, бросающиеся и, так сказать, невооруженному глазу.

Творчество художника, как мы видели, проходило известными этапами, каждый из которых представляет собой, в общем, одну какую-нибудь сферу наблюдения, и, соответственно этому, в каждом варьируются однотипные образы, мотивы, положения. В раннем периоде, прошедшем под знаком буйного отрицания, дерзкого вызова и протеста, мы во всем чувствуем задор, яркость, звучность, остроту, размах. С экзотическим своеобразием быта, живописной красочностью героев в полной гармонии находится нервное, порывистое, импрессионистское, полное неожиданных оборотов письмо автора. Не только в нарочито-романтических легендах и сказках, но и в бытовых картинах сохраняется приподнятость стиля, доходящая до гиперболичности, стремление в каждом штрихе утвердить грандиозность, величие мира и человека. Шествие прозаической толпы молдаван, работающих на виноградниках, изображается художником, как священная процессия:

«Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с пышными черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки—веселые, гибкие, как лозы, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, и ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он

точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили все дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их все прекраснее».

Пейзаж насыщен «острым запахом моря и жирными испарениями земли», озарен солнцем, овеян просторами степей, окружен величественными горами.

Перенесемся на несколько лет позже. Горький непосредственно уже обличает мещанство жизни, бичует интеллигенцию, утверждает «коллектив». Горький страстно убеждает, доказывает, спорит, выявляет столкновение борющихся начал. Стиль принимает сугубо рационалистический характер, действие подменяется рассуждением, начинается злоупотребление афоризма, отпадает, отмирает, как ненужность, пейзаж, излишний в этих сплошных схватках идей и теорий. Художник вплотную берется за драму, которая, по самому существу своему, не допускает вмешательства природы, отодвигая ее на роль декорации. Стены и столько-то разговаривающих людей,—писатель становится необычайно скуп в «аранжировке»... Даже в «Лете» —повести о русской деревне—нет ничего, кроме стен и разговаривающих людей. Природа начинает возвращаться только с «Исповеди», последней судороги плененного книжной схемой писателя.

Наконец, Горький высвобождает свое творчество от преднамеренного служения «идее» и твердо становится на путь правдивого реалистического бытописания. В окуровской хронике, в ряде повестей, рассказов и очерков, в цикле своих изумительных автобиографических произведений писатель «служит» только правде о русском народе, родине. Безгранично раздвинуты рамки, необозрима сфера наблюдений,—перед нами Россия, Русь, русская земля. И от прикосновения к этой родной почве могучие творческие силы

художника, словно вспрыснутые животворной росой, расцветают с небывалой пышностью и красотою.

«В полях земля кругла, понятна и любезна сердцу; лежишь, бывало, на ней, как на ладони, мал и прост, словно ребенок, теплым сумраком одетый, и плывешь вместе с нею мимо звезд... Мыши шуршат, иной раз по руке у тебя перекатится маленький мягкий комок, вздрогнешь и еще глубже чувствуешь обилие живого, и сама земля оживает под тобою—сочная, близкая, родная тебе... Словно таешь, прислонясь к груди ее, и растет твое тело, питаясь теплым и пахучим соком милой матери твоей, видишь себя неотвратно навеки земным, благодарно думаешь: «родная моя!»

Это о себе говорит словами Матвея из «Исповеди» Горький. Прислонясь к груди родины, он вобрал в себя все теплые и пахучие ее соки и земным ее ароматом напоил свои песни о ней. Не только по «содержанию», но и по «форме» творчество художника становится глубоко национальным. Язык—прежде поражавший своею несколько излишней красочностью, пестротой и неожиданостью—приобретает спокойствие и плавность «медлительной русской речи». Музыкой звучит речь Василия Каширина, бабушки, Савелия и Матвея Кожемякиных, Калинина, множества русских людей, живыми глядящих на нас из черных значков типографского шрифта. Словно погрузил куда-то глубоко свою руку художник,—и вот на ладони играют, сверкают, смеются драгоценные самоцветные камни. Учиться следует русскому языку по этим совершеннейшим образцам... Возвращается пейзаж—но это уже не тот яркий, сверкающий, вечно праздничный и, в конце концов, холодно чуждый пейзаж «смеющегося» моря, снеговых вершин и знойного солнца.

«Играли на полях певучие вьюги, осеняя холмы белыми крыльями, щедро кутая городок в пышные сугробы снега;

выли по ночам голодные, озябшие волки, и, отвечая им, злобно лаяли трусоватые окуровские собаки. Редко небо бывало свободно от серых облаков, но хороши были те ночи, когда добрая синева его, до глубин своих пронизанная золотыми лучами звезд, вся дрожала, горела и таяла, сама восхищаясь бессмертною своею красотой. Ликуя сверкали снежинки, словно звездною пылью окропив землю, отдыхавшую под их теплым, мягким пологом для новых весенних рождений. Покорно согнулись ветви деревьев, наклоняя пуховые белые лапы, алмазами и смарагдами блещут стволы, одетые кружевами инея. Кресты церквей окованы серебром, а скворешни стоят в пышных чепчиках; на крыши домов плотно легли толстые гривы сугробов, свесив края, узорно вырезанные ветром. Морозный воздух чутко-звонок, и степенное карканье ворон, озабоченных холодом, веселое треньканье синиц, смешной окрик снегирей—легко и живо разносились по городу из конца в конец. А вокруг него на холмах оледенела тишина, и Окуров стоит на блюде из серебра, кованого морозом, отчеканенного вьюгами».

Сугробы, вьюги, каркающие вороны,— хватающей за сердце тоской веет от этой картины, не менее ярко, чем дневник Кожемякина, говорит она о тяжелой; темной скуке тяжелой и темной жизни. Слова простые, и трудно отдать себе отчет—в чем секрет обаяния, исходящего от этого волнующего окуровского пейзажа.

Леса, овраги, реки, поля—весь этот небогатый «набор» скромного русского пейзажа светится у Горького каким-то внутренним сиянием. Сколько раз— и какими мастерами — уже написаны картины восхода солнца, но разве забудешь этот горьковский гимн:

«Были те минуты перелома ночи, минуты крайнего напряжения ее пред началом рассвета, когда вся земля кажется глубоко и надолго погруженной в непробудный сон, когда полнота тишины возбуждает в душе особенную

чуткость, звезды странно близки земле, а утренняя звезда ярка, точно маленькое солнце.

Но уже небо, холодно серея, незаметно теряет ночную мягкость и теплоту, лучи звезд опадают, как лепестки цветов, луна, доселе золотистая, бледнея, опыляется серебром и уходит все дальше от земли. Вода реки неуловимо изменяет свой густой, маслянистый блеск, в ней капризно являются на миг и тотчас исчезают жемчужные отражения быстрых изменений цвета небес.

...А на востоке, над черными зубцами елового леса уже поднято повисла тонкая, ровная пелена; она разгорается все ярче, и ее слишком нежный, сладковатый цвет приятно густеет, становится все более смелым и ярким, точно шопот робкой молитвы переходит в ликующую песнь благодарности. Еще миг, и острые верхушки елей вспыхнули красным огнем, горят, как праздничные свечи в храме.

Невидимая рука бросила на воду и влачит по ней прозрачную сеть разноцветного шелка, предутренний ветер покрыл всю реку серебристой чешуей мелкой ряби, глаза устают следить за игрой золота и перламутра, багреца и зеленовато-голубых пятен обновленного солнцем неба.

Веером раскрылись первые, мечеобразные лучи, концы их ослепительно белы, и кажется, что слышишь, как с безграничных высот ниспадает на землю густой звон серебряных колоколов, торжественный звон встречу грядущему солнцу; над лесом уже виден красный его край, — чаша, полная сока жизни, опрокинута над землею и щедро льет на нее свою творческую мощь, а с лугов в небо поднимается, точно дым кадильный, красноватый пар» («На пароходе»).

Или припомним рассказ Савелия Кожемякина своему сыну, как он плыл по Волге на барже:

«Идешь ты на барже, а встречу тебе берега плывут, деревни, села у воды стоят, лодки снуют, словно ласточки,

рыбаки снасть ставят, по праздникам народ пестро кружится, бабьи сарафаны полымем горят, — мужики-то поволжские сыто живут, одеваются нарядно, бабы у них прирабатывают: деньги — дороги, одежа — дешева. Взглянешь, бывало, на берег, вспыхнет сердце — загогочешь во всю силу: «эй, вы жители! Здорово ли живем?» Бичевой бурлаки согнувшись идут, как баранки на мочало вздетые, — маленькие они издали-то. Песни гудут, ровно бы большущие пчелы невидимо летят. А ночью — потемнеет река, осеребрится месяцем, на привалах огни засветятся, задрожат на черной-то воде, смотрят в небо как бы со дна реки, а в небе — звезды эти наши русские, — и так мило все душе, такое все родное человеку. Обнимает Волга сердце доброй лаской, будто говорит тебе: «Живи-де, браток, не тужи! Чего там!» Волга, Матвей, это уж воистину за труд наш, для облегченья от бога дана, и как взглянешь на нее — окрылится сердце радостью, ничего тебе не хочется, не надобно, только бы плыть, — вот какая разымчивая река!»

Можно приводить десятки и десятки подобных отрывков, где пейзажная живопись доведена до совершенства. Особенно пленяет в ней то, что она всегда поставлена на месте, всегда находится в полной гармонии с тем куском жизни, который она обрамляет, помогая глубже, тоньше, интимнее воспринять настроение художника. Это счастливое свойство никогда не изменяет писателю — часто обращаясь против него, когда он отдает себя во власть чисто рассудочных переживаний...

Нетрудно заметить в стиле Горького большую склонность к метафоричности, перегружение образностью. Художник глубоко чувствует космическое единство, — для него не существует резкой грани между природой органической и неорганической, он одушевляет явления природы и способен придать человеку черты и свойства мертвой материи. Зрительные впечатления всегда причудливо и своеобразно отра-

жаются в его мозгу, вызывая самые неожиданные ассоциации. Чаще, чем кто-либо другой из писателей, Горький прибегает к сравнениям. Вероятно, ни у кого не встречается в таком изобилии слова: «точно», «словно», «как». Многие из этих сравнений поражают свежестью и новизной, но надо признать, что этот слишком систематический «имажинизм» утомителен, и образы не всегда убедительны и порой кажутся притянутыми за волосы. Возьмем наугад несколько примеров. Вот уже упоминавшийся нами рассказ «Рождение человека». На первой же странице натыкаемся на такое яркое и лаконически простое сравнение: «Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих—много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук»... Образ запечатлевается без всякого насилия со стороны воспринимающего его сознания, он превосходен, тая в себе двойной смысл: внешнего сходства каштанового листа с рукой и внутреннего сходства осеннего, увядшего, опавшего листа—с отсеченной мертвой рукой.

Но вот переворачиваем страницу и читаем описание осеннего Кавказа:

«Осенью на Кавказе, точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы—они же всегда и великие грешники—построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все—несли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от твоих—тебе...

Я вижу, как длиннобородые, седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их—живою тканью многообразных деревьев,—и безумно

красивым становится под их руками этот кусок благодарной земли».

Может быть, все это и «безумно красиво», но вряд ли это поможет хоть одному читателю получить представление о том, каково «осенью на Кавказе»: бедняга Кавказ исчез, куда-то затерялся среди всех этих мудрецов, грешников, тюркмен, длиннобородых великанов и прочих сторонних персонажей. В том же рассказе встречаем дальше описание турецкой фелюги, надувшей паруса, «как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки», а засим следует на многих строках описание сего инженера,—как он говорил, как отправлял рабочих в полицию, заодно здесь же высказывается неблагочестивое предположение, что инженера уже, наверное, обглодали черви, и таковое же пожелание по адресу «еще нескольких знакомых»...

Вот дом, похожий на человека:

«Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас же объелся до ожирения».

А вот человек, похожий на дом:

«Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно—в час, когда окна его отражают солнце».

Оба эти сравнения взяты из одной повести «В людях». Нет, это трудно переваривается—все эти многоэтажные образы... Но там же описывается где-то, как пляшет гигантского роста, «преувеличенная во всех размерах почти безобразно», женщина:

«В левой руке у нее платок, она лениво помахивает им; правая рука уперта в бока—это делает ее похожей на огромный кувшин». Прекрасно! Или, при описании тихого и ласкового весеннего пейзажа, читаем:

«Уже на прибрежных кустарниках виден желтый лист, но все вокруг улыбается двойственной задумчивой улыбкой молодухи, для которой пришла пора впервые родить—и страшит это ее и радует» («На пароходе»).

К сожалению, далеко не все метафоры умеют служить у Горького целям художественной экономии...

То же самое можно сказать и по поводу нередко встречающихся у нашего писателя «лирических отступлений». Иногда, выливаясь непосредственно из души художника, они вполне на месте, отвечая общему строю произведения, чем-то его дополняя и даже придавая ему особую прелесть. Так, в «Рождении человека», сейчас же за головоломным «осенним Кавказом», отдыхаешь на вдруг вторгшемся интермеццо, так хорошо гармонирующем с бодрящим, человечным тоном всего рассказа:

«Превосходная должность—быть на земле человеком,—сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотою. Ну да, порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, и тоска жадно сосет кровь сердца, но это—не навсегда дано, да ведь и самому солнцу часто очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а—не удались людишки... Разумеется, есть немало и хороших, но — их надобо починить или, лучше, переделать заново».

Но гораздо чаще эта поэтическая непосредственность чувства подменяется головным, книжным мудрствованием—вялым, бледным, худосочным и раздражающим.

В хорошем рассказе «Ледоход» автор вдруг пускается в длинное рассуждение на тему, что такое человечья душа:

«Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой—отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как

зеркала,—это все равно, как будто их нет. А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал,— они все и всегда податливо изменяются сообразно цвету того, что коснется».

Такого рода банальности, увы, не являются исключением у Горького. Еще заметнее у него черта водить читателя с указкой по своим же произведениям. Как будто не доверяя убедительности собственных образов, он нередко тут же, «от себя», пытается их «объяснить», снабдить пространными и... ненужными комментариями. Кажется, трудно подыскать фигуру более выпуклую в своей элементарной простоте и прозрачности, чем солдат-булочник, соблазнитель Тани, героини рассказа «Двадцать шесть и одна». Однако это не ограждает нас от назойливого вторжения автора. Боясь, что мы не сможем постигнуть загадочного сердцееда, писатель предупредительно поясняет: «Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порог и им жить, и можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки». В другом месте («Рассказ Филиппа Васильевича») вставлена такая поучительная сентенция: «Мы все обязаны ценить взаимные услуги друг другу, это необходимо в общежитии». Число подобных примеров можно, к сожалению, значительно приумножить,— редкое произведение обходится у Горького без таких поучающих и наставляющих вставок. Эта черта вытекает из публицистической природы художника и сильнее сказывается там, где дидактизм и проповедничество особенно выпячены. В вещах последнего периода поэтому заметна ее значительная убыль.

* * *

О Горьком трудно да и не хочется как-то думать «враздробь», брать его «по кусочкам», копаться в деталях.

При всей зигзагообразности его творческого пути, при всей сложности и пестроте основных элементов его художества — это явление насквозь цельное, монолитное. Горького можно принять—или отвергнуть. Середины тут быть не может — да ее и нет. Если пристальнее вслушаться в многочисленный хор критики, в шумный говор огромной читательской аудитории,—а она у него очень велика,— нетрудно различить: или—да здравствует, или—долой. Отношение к Горькому всегда проникнуто страстностью; кажется, никто еще не мог подняться до высоты спокойного академического тона в своих суждениях об этом писателе. Кто еще, кроме Горького, являлся в такой мере объектом, с одной стороны—надежд, любви, поклонения, а с другой— концентрированной ненависти и какой-то воистину подколодной злобы? И вовсе не в публицистике Горького тут дело. Как публицист, он часто смущал и друзей и врагов, путал карты, сбивал с толку. Быть с Горьким—вовсе не значит соглашаться с ним политически,—и обратно. Верно только то, что Горького нельзя оценивать вне общественной плоскости. Он совершенно недоступен, непроницаем для чисто эстетического подхода, его нельзя брать как мастера литературного цеха и мерить обычной меркой. Напротив, он сам служит реактивом для читателя.

Горький—это Россия последней четверти века со всем ее добром и злом,—страшная окуровская Русь и свежая, бодрящая поросль, жестокость и доброта, тьма и одаренность, убожество и величие,—это живой русский народ с отравой татарской неволи в крови и жадным устремлением вперед, к манящим далям...

Принять Горького—значит верить в творческую силу и великое будущее народа, зная всю правду о нем.

И когда вспомнишь, какую жизнь прошел этот замечательный человек, из глубины трудовой толщи пронесший— несмотря на всю горечь и яд испытаний, выпадающих у нас

на долю простолюдина—несметные сокровища духа, которые он царственно расточает людям,—нельзя не уверовать в Россию.

В самые мрачные минуты сомнений, когда смрадный чад действительности гасит все огни,—одна мысль о Горьком способна поднять никнущее сердце.

Нет, не погибнет, не задохнется, не захлебнется в болоте народ, из плоти своей создавший Горького!

Символ своей родины, он является в то же время и ее величайшей надеждой. Та глубокая привязанность, та ревнивая и нежная любовь, которую проявляет к художнику им же вызванный читатель из народных низов,—рабочий, крестьянин, ремесленник, простой русский человек,—объясняется не только стихийным кровным чувством к «своему», родному. В Горьком, которого они—по словам одного обращения группы рабочих и крестьян к писателю—«родили из своей народной души» и в которого «вложили дар слова», они видят некое великое обетование. Создание коллективного гения,—он живет и будет жить в бессмертной душе этого коллектива.

И нельзя лучше, достойнее и глубже выразить всю неизмеримость общественного значения писателя, чем это сделано в корявых словах одного чернорабочего:

«Каждый человек, кто бы он ни был из рабочей категории, но в душе его есть что-то живое: это память о Горьком».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сколько-нибудь цельного и полного собрания сочинений М. Горького не существует. Первым издательством, систематически печатавшим произведения М. Горького, было Т-во «Знание». В этом издательстве выпущено 9 томов Горького, охватывающие период до 1905 года. Следующие 11 томов (от «Жизни ненужного человека» до «Детства» включительно) выпущены книгоиздательством «Жизнь и Знание». С 1917 г. к печатанию полного собрания сочинений, в качестве приложения к журналу «Нива», приступило Т-во А. Ф. Маркс. В виду последовавшей в 1918 г. национализации предприятия, издание было приостановлено, не успев выпустить в свет даже того, что в свое время было дано «Знанием».

Наиболее значительные публицистические работы М. Горького собраны в двух книгах: «Статьи 1905 — 1916 г.г.» изд. «Парус», П. 1918 г. и «Несвоевременные мысли», изд. «Культура и раздел. свобода», П. 1918 г.

Из произведений, появившихся позже «Детства», выпущено в изд. З. И. Гржебина: «В людях», «Воспоминания о Л. Н. Толстом», пьеса «Старик» (в «Петербургском Альманахе»), «Воспоминания о Л. Андрееве» (в сборнике памяти Л. Андреева); «Автобиографические рассказы» печатаются с 1923 г. в журнале «Красная Новь», Москва, и «Летопись революции» (Берлин, издание З. И. Гржебина). В издании «Парус» вышел в 1917 г. сборник рассказов—«Ералаш».

Очень много произведений Горького—рассказов, очерков, статей—разбросано по всевозможным сборникам, журналам, газетам. Почти совершенно неизвестен читателю самый ранний период работ Горького, когда он сотрудничал в провинциальной прессе.

Таким образом приходится констатировать, что—несмотря на чрезвычайную популярность писателя и огромный тираж выпу-

скавшихся в свет его произведений,—очень мало сделано серьезных, научных попыток издать сочинения М. Горького.

То же самое приходится констатировать в области биографии и критики. Правда, сам художник в целом ряде произведений дал величайшей ценности автобиографический материал: «Детство», «В людях», «Автобиографические рассказы», «Как я учился», воспоминания о Каронине, Андрееве и др., наконец, в написанных по предложению С. А. Венгерова и журн. «Семья» заметках [1]),—но все же до сих пор нет ни одного научно составленного жизнеописания, с достоверными датами, строго проверенными данными и т. п. Архивные материалы дали пока очень немногое,—нам, по крайней мере, известны только приведенные в тексте сообщения Б. Николаевского в «Былом» и Иларионова—в журнале Нижегородского Истпарта. А между тем, один архивный материал о Горьком (в столице и на местах) должен дать многое, и то обстоятельство, что П. Лепешинский в своей книге «На повороте» походя приводит обнаруженное им, весьма важное для биографии писателя, письмо о нем (см. стр. 80),—не может явиться случайностью.

Литература о Горьком количественно очень велика. Самый подробный, но вряд ли еще полный перечень ее—интересующийся читатель найдет в упомянутом выше издании: I т. «Русск. литература XX в.». Однако среди всего этого внешнего изобилия нет ни одной монографии,—все отдельные очерки, этюды, статьи, заметки, вкрапленные во всевозможные издания—преимущественно журналы, газеты, сборники и т. п. Единственно известная попытка дать цельную работу о Горьком принадлежала В. Боцяновскому «Горький», П. 2 издание, 1907 г.), но ее вряд ли можно рекомендовать читателю. К пятидесятилетию рождения М. Горького появились две книжки: В. А. Строев «М. Горький», П., изд. З. И. Гржебина, 1919 г. и Вяч. Полонский—изд. ВУЦИК'а, Москва 1919 г., но уже один скромный размер их (1—1½ печ. листа) говорит о скромных намерениях самих авторов.

Наиболее полно изучен и освещен критикой ранний период творчества Горького—эпоха «босячества». Наибольшего внимания заслуживают работы: Н. К. Михайловский—четыре статьи из «Русск. Богатства», собранные в книгах: «Отклики», т. II, изд.

[1] Приведены на стр. 190—194 I т. «Русск. лит. XX века» (ред. проф. С. А. Венгерова, изд. «Мир».)

«Русск. Богатство» 1904 г. и «Последние сочинения Н. К. Михайловского», т. II, изд. «Русск. Богатство», 1905 г.; Андреевич (Соловьев)—«Книга о Горьком и Чехове», Спб., 1900; А. Дивильковский—«М. Горький», статья в журнале «Правда» 1905 г., №№ 2, 3 и 4; Н. Коробка—ст. «М. Горький и его общественное значение», напечатана в книге автора «Очерки литературных настроений», П. 1903 г., изд. Винске; Д. Овсянико-Куликовский — ст. «Социальные отбросы» в V т. собр. сочин., изд. «Общ Польза», П. 1909 г.

Общие характеристики творчества Горького находим из критиков марксистского лагеря у Львова-Рогачевского в I томе Венгеровской «Русск. лит. XX в.» (вариант статьи, данной тем же писателем в сборнике «На рубеже», изд. 1909 г.) и М. Неведомского—в т. V «Истории русск. литературы XIX в.» (под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского), изд. «Мир», Москва, 1910. Значительное место уделяет Горькому Р. Иванов-Разумник в своей «Истории русской общественной мысли» (т. VII), изд. «Колос», но суждения о художнике построены здесь так же малоубедительно и схематично, с той же произвольной «классификацией», с какой вообще написана вся «история». Стоит отметить статью К. Чуковского «Пфуль» в его книге «Критические рассказы» для «Шиповника». При меткости отдельных замечаний, очерк в целом мало серьезен. Автор, повторяя широко распространенные суждения о Горьком, как о писателе «схематическом», сводит к этому все его творчество, сравнивая художника с генералом Пфулем из «Войны и Мира», который вел свои кампании по кабинетно-вымышленным «диспозициям».

Характерны по острой враждебности к Горькому цитированные в тексте статьи: Ю. Айхенвальд — «Силуэты русских писателей». Выпуск III, изд. «Мир», Москва, 1913 г., Антон Крайний (З. Гиппиус)—«Литературный дневник». М. 1908. Изд. Пирожкова (статья «Выбор мешка»); Д. Философов — ряд статей в книге «Слова и жизнь», П, 1909.

Об отдельных произведениях Горького, как указано, имеется огромная газетно-журнальная литература самого разнообразного качества. Хочется выделить статьи Г. В. Плеханова — о пьесе «Враги» в журнале «Совр. Мир», 1907 г., май, и об «Исповеди» в указанном в тексте сборнике «От обороны к нападению».

Об отношении к М. Горькому читателей низов любопытный материал можно найти в статьях Л. Клейнборта—«М. Горький

и читатель низов» («Вестник Европы»), 1913 г. № 12) и «Горький на родине» («Современник», 1914 г. № 6), а также в статье Е. Соловьевой — «М. Горький в суждении народа» («Образование», 1903 г. № 9).

Имеются на русском языке переводы статей европейской критики о Горьком. Часть их собрана в книге Л. Г. «Иностранная критика о Горьком», Москва, 1904 г. Отдельно издана книжка французского критика Мельхиора Вогюэ — «Горький», П., 1902 г. Имеется среди «Литературных характеристик» знаменитого датского критика Георга Брандеса и одна, посвященная Горькому, но, к сожалению, весьма неудачная.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
I. Канун Горького	3
II. Детство, отрочество, юность	16
III. Первый период	37
IV. Проблема лжи	55
V. Борьба с мещанством и интеллигенцией	66
VI. Участие в революционном движении	76
VII. Социалистические мотивы. — Социальные корни творчества	83
VIII. Окуров. — Россия. — Народ	106
IX. Публицистика. — Стиль. —Заключение	130
Библиографический указатель	144

ОБМЕН

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
000048935 29